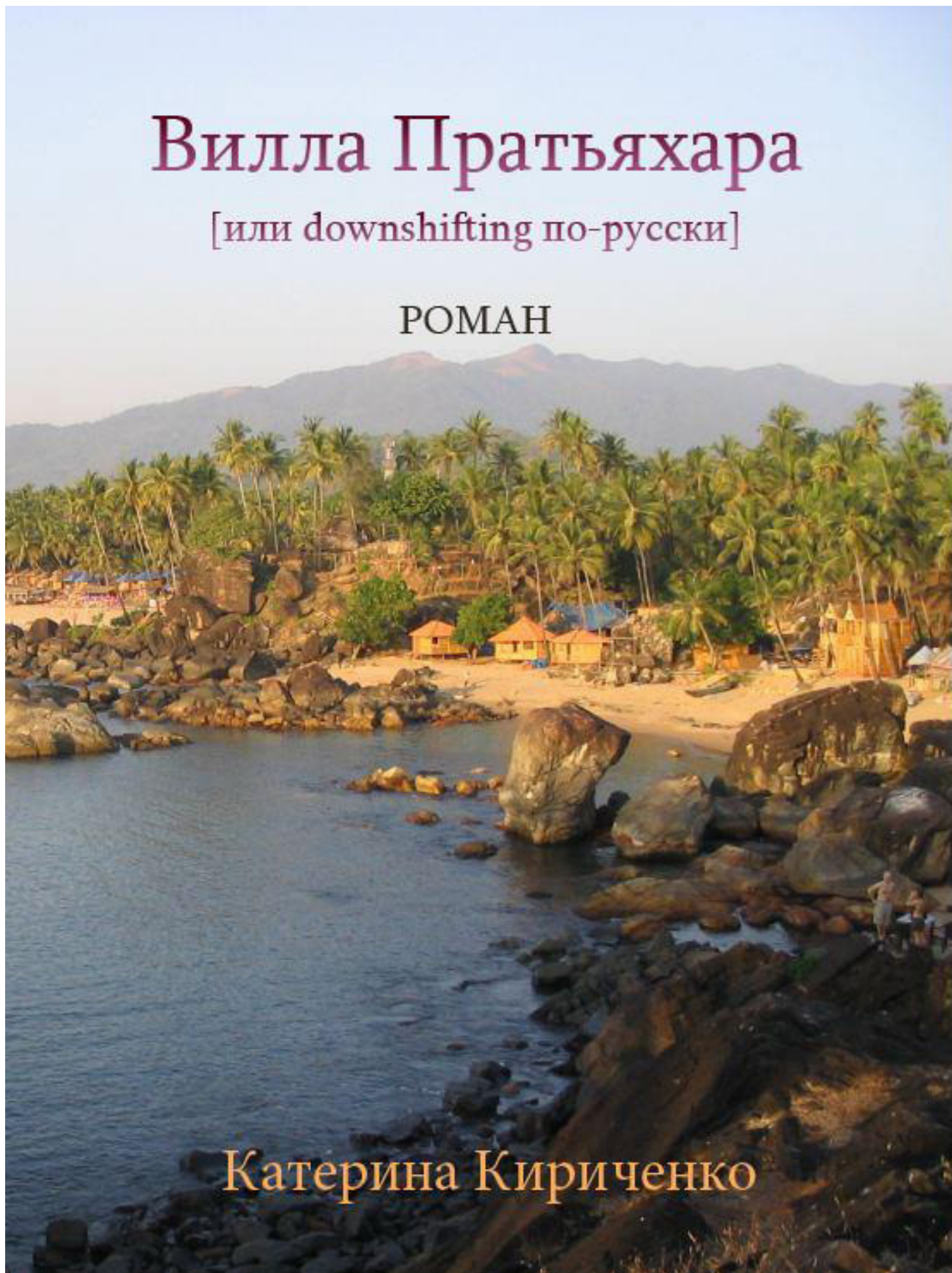


# Вилла Пратьяхара

[или downshifting по-русски]

РОМАН

Катерина Кириченко



Катерина Кириченко

**Вилла Пратьяхара**

«Автор»

2014

## **Кириченко К.**

Вилла Пратьяхара / К. Кириченко — «Автор», 2014

Москва, 2009. Экономический кризис. Внезапное разорение. Потеря смысла жизни. Побег на тропический остров. Новые идеалы... Так просто? – Разумеется, нет. Прошлое настигнет вас и в пальмовом раю.

© Кириченко К., 2014

© Автор, 2014

## Содержание

Пролог	6
Часть 1	11
1	11
2	13
3	17
4	20
5	26
6	30
7	36
8	46
Часть 2	47
9	47
10	51
11	56
12	63
Конец ознакомительного фрагмента.	68

# Катерина Кириченко Вилла Пратьяхара [или downshifting по-русски]

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

\* \* \*

*У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет ее как может.*

***Ж.-П. Сартр***

## Пролог

Черт ее раздери, эту московскую весну! – сам себе жаловался Иван Иванович, перебираясь через лужи. Но сам же себе и не верил, знал, что лукавит. Нравились ему, определенно нравились и отсвечивающие небесной голубизной лужи, и отчаянно горланящие по весне птицы, и сами горожане – бледные, похожие на куриц, вынутых из морозильного шкафа и теперь размораживающихся в апрельских лучах. Как-то особенно, очень по-русски трогали его душу старушки, приторговывающие мимозой у метро: кто поосторожнее – еще в вязаных шапках, а некоторые – так уже легкомысленно, в съезжающих с поседевших челок платках. «Купи, милоч, недорого отдам», надтреснутыми голосами уговаривали они, и Иван Иванович поймал себя на том, что сглатывает кислую слюну, а рука уже лезет за пазуху, достает две сторублевые бумажки, протягивает старухам.

Эх, болван приезжий, как тебя развезло-то с непривычки! И куда ты теперь букет этот денешь? – недоумевал он только что содеянному, в то время как продолжал, пытая и отдуваясь, перепрыгивать через ручьи у тротуаров. А на сердце было уютно, мягко даже, прозрачно, как и в воздухе вокруг. И так и вертелись в голове какие-то знакомые строки, что-то про «облака вокруг, купола вокруг, надо всей Москвой, сколько хватит рук»... Единственное, о чем жалел, так это что погорячился, приехал в Россию в тонких кожаных ботинках. Нет бы, старый дурак, догадался захватить с собой резиновые сапоги! Хотя, город этот нынче статусный, по инстанциям в сапогах расхаживать – только на лишние очереди нарываться.

Поселился, однако, в «Пекине». То ли забытой советской романтики захотелось, то ли... да разве поймешь, какие бесы в очередной раз попутали? Дорогушие номера оказались довольно безвкусными, с излишней претензией обставленными в псевдо-ампирном стиле – с натуральным паркетом, величественными бархатными портьерами и даже какой-то невнятной картиной в золоченой раме, – словно всем своим интуристовским шиком выглядывающими из той, старой эпохи. Хотя кой-где, будто нувориши-недоучки, скалились в издевке некоторые неизбежные современности: в потолок неуютно вмонтированы рыбы глазки подсветки, в ванной – бездушная (даром, что душевая) стеклянная кабина с уже разболтавшейся дверцей. Одно, несомненно, радовало: окна, как и просил, выходили на широченную равнинную реку Садового Кольца. Вечерами перемигивающаяся красно-желтыми фарами лавина еле движущихся автомобилей заползала в туннель под Тверской, и Иван Иванович подолгу простаивал с кружкой дымчатого чая, любясь на разлитые внизу огни и размышляя о причудливости и неисповедимости путей господних.

Вот они, прелести переменчивого московского климата! Разве дождешься такой капли на круглый год залитом солнцем Кипре? Вернуться, что ли, на родину, или все-таки поностагировать чуток, запить киевскую котлету ста граммами «Столичной», да и ехать к себе обратно? Какая тут сейчас работа? Кому нужны доисторические аксакалы, олицетворение обстоятельной старой закалки, списанный молодой властью, поседевший материал с постоянно ноющей под ребрами язвой и, чего скрывать, далеко не идеальным кровавым давлением?

Вздохнув и придя к выводу, что не перезванивающийся каплей весенний город влечет его больные кости, а некий призрак, мираж давно позабытой здесь юности, пустые воспоминания, от которых пора бы уже и освободиться, Иван Иванович пригладил широкими, еще сильными пальцами топорщащиеся моржовые усы и вернулся в кресло у выключенного телевизора. По какой-то административной ошибке номер выдали не обычный, а люкс. Лишней доплаты не попросили, и удивленно кивнувший немолодой и неулыбчивой ресепшионистке Иван Иванович смел со стойки в кулак плоскую карточку электронного ключа и проживал теперь с комфортом: кроме кровати, окруженной с обеих сторон близнецами-тумбочками, в комнате имелся

так называемый «мягкий угол», состоящий из вполне удобных кожаных кресел и журнального столика.

Табак в России пока еще разрешался везде. На столике поблескивала чистая пепельница; будто искушая и подмигивая, лежал в ней новенький, непотертый коробок гостиничных спичек. Привычно потянуло закурить, или хотя бы пожевать губами сигаретный фильтр, но Иван Иванович отогнал дьявольский соблазн. Доктора (будь они неладны, нет бы хоть лечить умели) выкатывали глаза и вздымали руки небу, ужасаясь одной мысли, что заржавевшим сосудам Иван Ивановича придется столкнуться с таким испытанием, как никотин, капля которого (вот уж точно, бред сивой кобылы!) якобы убивает и не такую лошадь, как бывший посольский работник, а ныне исполнительный директор небольшой туристической компании, кормящейся, по старой памяти, все от того же русского посольства на Кипре. Там же, в одноэтажной оштукатуренной постройке, примостившейся на окраине Никосии, ждала Ивана Ивановича и жена. Ну ладно, пусть не жена, но, как говорится, доброе человеческое сердце, делившее с ним долгие вечерние думы, партейку-другую в ленивого «подкидного дурака», а также стол и постель.

Нет, – еще раз подумал Иван Иванович и скосил глаза на покоящийся на столике обратный билет, – не нужен я златоглавой. Доделать дела, да и катить себе восвояси. Чао, гуд бай, ариведерчи. Эх, жизнь прошла как-то незаметно, бесцельно, почти бездушно, и даже родине-то я теперь ни к чему. Прибился, куда вышло, на какой-то богом забытый остров, да и на том спасибо. Там хоть кости не так ломит от сырости, да и Настя, поди, заждалась. А что до того, что блесит Москва, так это для молодых. Хотя, вспомнил он о грустной цели своего приезда, и им здесь живет, судя по всему, эх, как не сладко. Надо бы завтра не забыть дозвониться в нотариат и этот, как же он называется? – паспортный стол, а то так, глядишь, можно проволыниться и пропустить самолет.

В руках как-то сам собой снова оказался блокнот в переплете из черного коленкора. Бумага – желтоватая, разлинованная в полоску – рябила и морщилась, изгибаясь дугой от высушенной влаги. Пальцы задумчиво погладили корешок, сами перелистнули уже не раз прочитанные страницы. За окном сгустились ранние сумерки, но Иван Иванович поленился вставать, сучить ногами в поисках тапочек, идти зажигать свет. Дальнорукые глаза чуть прищурились, разбирая строчки. Хорошо хоть, что запись сделана простым карандашом, а то новомодные фломастеры совершенно неприспособлены к влаге, и от случившейся истории не осталось бы вообще ничего кроме кляксы, пустых страниц с размытыми буквами. А так, ну хоть что-то.

Запись находилась в середине почти пустого блокнота, вероятно писавший открыл его наугад и сразу бросился покрывать страницу быстрыми карандашными каракулями. Глаза Ивана Ивановича заскользили по строчкам, губы слегка зашевелились, сопровождая чтение, а сердце перешло на неровный, аритмичный стук. Удар, большой пробел, еще удар, опять пробел, потом еще удар, удар, удар, уже без паузы, с едва ощутимой тягучей болью... Щемит, – привычно отметил Иван Иванович. – Плохо, плохо уже даются ему минуты грустных переживаний. Вот, поди, завтра опять тяжелый выдастся денек, в койку бы пора. Но кривые, наспех набросанные буквы уже поработили его и запрыгали в пляске:

«Удивительно, до чего же мучительно сложно писать о, казалось бы, такой простой вещи как счастье! Отказаться от привычного, почти уже механического цинизма и найти простые, но ясные слова для передачи этого искрометного, сверкающего, бесстыдного блаженства, чудовищного недоразумения, почти сумасшествия, со страшной силой завладевшего мной! Это тебе не заметки туриста; не постылый дневник, вяло перебирающий в памяти суету предположительных ночей; не какая-нибудь, с томной послеобеденной зевотой, словно прыщ, выдвленная из себя статейка в модный журнал – пустая, разумеется, критически настроенная против всего, что под руку попадет, безнадежно, намертво потерянная в круговерти обезличенных

псевдо-интеллектуальных понятий, за которыми, как все давно знают, не скрывается ничего кроме слабости и трусости!

С чего бы мне начать? С чего вообще все начинается? Как понять, нащупать тот переломный момент, тот толчок, ту решающую минуту, после которой все, хоть и продолжало еще какое-то время по инерции выглядеть прежним, но изнутри, едва ощутимо, почти незаметно, уже стало меняться? У каждого хоть сколь бы то ни было значимого события, предельно краткого, даже секундного озарения есть своя предыстория, но чтобы увидеть ее, собрать все осколки и ретроспективно склеить в единую чашу истории нужна дистанция, временная перспектива, которой у меня пока нет. Я все еще слишком *внутри* поглотившего меня момента, сердце ухает вниз и замирает в невесомости, словно летящее навстречу стремительной неизвестности божественных чудо-качель. Чувства распирают меня, разрывают на части, хочется закрыть глаза ладонями, превратиться в античную маску и беззвучно кричать, но как, как – (когда душа парализована и нема от восторга), – как облечь все это в слова? В плоские, обычные, человеческие слова – такие непригодные, узкие, тесные... Как уложиться в двухмерное бумажное пространство, когда речь идет о чем-то хоть мало-мальски необычном, выходящем за привычную сферу постылого житейского водоворота? Мысли кружатся в голове полоумными пестрыми бабочками, но не дают поймать себя, нанизать на булавку, приколоть к блокнотной странице. Боже, дай мне силы не забыть того, что я только что поняла, пока я все-таки не найду в себе слов записать это! Или, вернее так: дай мне силы не забыть этого никогда! Соленые брызги покрывают мои плечи, щеки, пылающее лицо; руки дрожат (от сильной качки или опьяненные пронзительностью момента?); из глаз того гляди выскочат, выбрызнут слезы, и (о боже!) какая же это будет невыносимая сладость, мучительное неистовое наслаждение не сглатывать, не стесняться, не отворачиваться, а просто подставить лицо ветру и дать им свободу течь! Но как, с чего же именно мне все-таки следует начать? Наверное, так:

Я, Полина Власова, находясь в трезвом уме и памяти, какого-то, точно не уверена, числа марта две тысячи девятого года, (в голову лезет пионерское «торжественно клянусь», но клясться мне, собственно, не в чем), – обязательно должна записать нижеследующее. Боюсь, получается слишком высокопарно, но не важно. Момент и есть высокопарный, оглушающий, ослепляющий меня разлитым кругом золотом утреннего моря, покрывающий кожу робкими, испуганными мурашками предвкушения... Предвкушения чего? – Не знаю, и от этой неизвестности особенно захватывает дух. Мне кажется (зачеркнуто), нет, я абсолютно уверена, что с этой минуты вся моя жизнь сложится по-другому; улыбка, которая растягивает сейчас мое лицо до боли в *непривычных к счастью мышцах*, никогда больше меня не покинет, и тогда какая уже разница, что будет со мной дальше! Секунду назад я поняла что-то настолько для себя важное, что и жить дальше не за чем, и умирать теперь не страшно. Я впервые в жизни не боюсь своего будущего! Я совершенно нелепо, наивно, незаконно и бессовестно счастлива!

Я целую этот блокнот, мне хочется обнять, изо всех сил стиснуть, оторвать от палубы и закружить удивленно глазающих на меня тайцев, отдать им все свои деньги, оставшиеся в сумке бутерброды, мне кажется, я никогда больше не буду нуждаться в пище, буду сыта сол-нечными бликами и свежим соленым ветром, который окропляет, причащает меня конфетти морских брызг! Заберите мой паспорт, увольте меня из людей! Наши обычные человеческие жизни невыносимы. Они убоги, бесцельны, попусту суетны – да и бог бы с ним, если бы не главное: ко всему прочему они абсолютно наглухо, тупо и бездарно безрадостны! И никого это не беспокоит! Редко, редко когда наткнешься на человека, всерьез озабоченного не тем, *как* жить (читай: «прожить, выжить»), а искренне пытающегося найти ответ на короткий и неприятный вопрос: *зачем*! Хотя, легко нападать на других. А ведь я ничем не отличаюсь, я тоже труслива, я хожу вокруг и около, не осмеливаясь записать главного. А главное (ух, зажмуриваюсь) – оно всегда рядом, протяни руку и станешь счастлив, но то, что лежит под носом, как раз труднее всего рассмотреть. Современное человечество безнадежно и отчаянно слепо.



В молодости оно близоруко, в старости – дальнозорко, а воспетая «возрастная мудрость» – миф, прикрывающий горькую истину: мы *привыкаем* к серой жизни, перестаем ее замечать, а возраст в данном случае играет на нас, отнимая силы огорчаться тому, что мы, чем дальше, тем больше перестаем понимать, зачем все это было надо.

Хотя, о чем я пишу? К чему тут намеки на какой-то смысл? Ни в коей, ни в малейшей даже мере я не претендую на то, что он открылся мне, более того, что таковой вообще существует. Возможно, мы все не там ищем, и никакого понятного нам, трехмерного, обыденного, единого для всех смысла и вовсе нет, и быть не может. Но разве дело в нем, и разве будет он кому-то нужен, если человеку дано будет нечто иное: не равное, но как бы замещающее. Я уже почти подошла к нему, вот уже загустел воздух, стало трудно дышать... Решаюсь! Речь идет о счастье понимать, что ты живешь! В наших бессмысленных жизнях, как бы они ни складывались, всегда есть одна неоспоримая ценность, перекрывающая, да какое там! полностью заменяющая все остальные – *просто сама жизнь*, якобы бесцветный и бесплатный факт того, что пока чернота не навалилась на нас, пока легкие дышат, а тело способно двигаться – мы живы! И осознание этого есть абсолютное и самодостаточное условие для того, чтобы каждую минуту испытывать как искряще-эйфоричную и распирающую грудь от умопомрачительных приступов безумного, тотального блаженства! А все остальное есть лишь череда наносных, искусственных, не приносящих ничего, кроме неизбежных разочарований, событий, за которыми подмигивает, ухмыляясь, единственный гарантированный нам (но и единственный забытый нами) факт – наша смерть. Аминь!

Но как же трудно это понять! Не интеллектуально, а всем нутром, каждым нервом. Для того чтобы сия элементарная истина проникла в мое костное и замусоренное суетою сознание, мне пришлось лишиться многого, как мне казалось еще час назад – всего, из чего состояла раньше моя жизнь, а вернее, безнадежный тупик на задворках огромной человеческой фабрики, жалкий и склизкий проулок имени «Полины Власовой». Впрочем, кто я такая, чтобы жаловаться? У меня было все как у всех: типичный сценарий, где все происходящее воспринимается притупленно, покорно, как ряд хаотичных событий, над которыми у нас не больше контроля, чем над погодой: разве что успеваешь в последний момент взглянуть на небо и раскрыть зонтик, но не более того. В таких жизнях нет ни смысла, ни радости, ни видимой связующей нити, мы передвигаемся из сцены в сцену как жертвы, как куры, искренне принимающие потолок курятника за небо, и, так же как у них, в наших глазах не мелькает ничего, кроме расплывчатого сонного марева, лишь в последний момент сменяющегося отчаянием и ужасом.

Но мне неожиданно повезло: меня приперли к стене. Я долго пятилась, извинялась, привычно рыдала, пыталась найти спасение за чужими спинами, цепко хватаясь за соломинки тех, кто, как мне казалось, умеет управляться лучше меня. Но я ошибалась, ни за чьей спиной прожить нельзя. Это миф, самообман, мы и только мы сами творим собственное счастье и несчастье, наша судьба есть прямое следствие наших личных выборов, и не совершать их нельзя, какой бы устрашающей поначалу не казалась ответственность! Но для понимания этого необходим толчок, позволяющий прорваться сквозь привычно сковывающий нас страх, и именно за него, за эту искру, импульс я и должна сказать спасибо всем, кому суждено было невольно помочь мне в этом.

Людей, участвовавших в произошедшем со мной, было много, и сначала я думала, что никогда не смогу их простить. Но сейчас понимаю: здесь нет места прощению, передо мной никто не виноват, даже более того: я искренне *благодарна* им всем! Если бы не они, мне никогда не удалось бы найти выхода и почувствовать себя достаточно сильной, чтобы, наконец, построить свою жизнь такой, какой я ее хочу!

Ух, только что невесть откуда взявшаяся огромная волна перекатила через борт, промочив блокнот насквозь. Карандаш до дыр царапает мокрые листы, поэтому закругляюсь. Перечитала только что написанное. Запись вышла сумбурная, прыгающая. Как хорошо, что никаких

читателей она не предполагает. Постороннему человеку, не пережившему то, через что пришлось пройти мне, все это показалось бы наивным, излишне драматизированным, или даже, как знать? – патетичным. Могу себе представить, как закатились бы глаза у Жанны, прочти она эти строки, но я больше никогда ее не увижу, так же, впрочем, как и всех остальных. Я осталась одна и, невероятно, но меня это радует! Мне еще много о чем надо подумать, но что-то, а времени теперь у меня сколько угодно.

Перед моими глазами раскинулся бескрайний океан, и пройдет как минимум неделя, пока я доберусь до пункта моего назначения – далекой Новой Каледонии. Вот ведь куда, однако, может закинуть нас путь! Часто слышишь выражение, что вся наша жизнь игра, спектакль, театр; но ведь что примечательно: в отличие от театра вам никто не раздаст заранее «программку», все судьбоносное здесь всегда случается внезапно, нежданно, когда меньше всего этого ждешь. Вот и моя история (какое громкое название, я даже нашла в себе иронию усмехнуться) еще каких-то несколько месяцев назад начиналась так обычно, глупо и почти безнадежно – в заснеженной и насквозь пронизанной ледяными декабрьскими ветрами Москве. И неизвестно, как бы все сложилось, не случись того четверга, с Петровским?»

## Часть 1

### Москва

*То ж, что мы живем безумной, вполне безумной, сумасшедшей жизнью, это не слова, не сравнение, не преувеличение, а самое простое утверждение того, что есть.*

*Л. Толстой*

#### 1

– Это ваш? – доносилось издали, глухо, как сквозь вату. – Ваш? Ва-а-а...

Голова кружилась. В желудке появился камень, дернулся, подскочил к горлу. Я наклонилась, оперлась рукой о фонарный столб и сплюнула что-то вязкое, обжигающее рот. Вытерла губы рукавом пальто. И опять, не в силах не смотреть, повернула голову.

Петровский лежал на асфальте в той позе, в которой любят спать дети: разметавшись на животе, подогнув под себя одну ногу и распрямив, энергично отбросив назад вторую. Было похоже, что он видит сон, в котором все бежит, бежит куда-то, а за ним словно гонятся, преследуют. Обеими руками он обнимал воображаемую подушку. Только вместо нее оказалась кучка темного, смешанного с грязью снега, быстро окрашивающегося в темно-бордовое, упрямо расплазавшееся от головы Петровского пятно. Его очки лежали в полуметре, даже не разбившись. Дорогие очки, с фирменными золотыми нащепками на дужках. В их стеклах поигрывали оранжевые отблески фонарей. Вот только с единственным видным мне глазом Петровского было не все в порядке. Он был открыт и смотрел в никуда пустым, слишком отрешенным взглядом.

– Это ваш? – продолжал повторять какой-то мужчина в кожаной куртке, вероятно, следователь, держа за плечи Аллу Семеновну.

Но та молчала и только крутила головой, в пушистой меховой шапке, похожая на вдруг ослепшую и ничего не понимающую птицу.

– Ваш? Да не молчите вы, очнитесь! Я ж все понимаю, но по опыту знаю, проще щас, чем потом... Вот бумага, распишитесь, и дело сделано. В ваших же интересах, выводку закончим на месте, в моржок отправим, время сэкономите.

– Отъебись, мудака! – сказал появившийся откуда-то Стас.

Плечи Аллы Семеновны перешли в его руки, а мудака в кожаной куртке обиженно отошел за ограждение и начал звонить по телефону, поглядывая в сторону открытого окна на седьмом этаже. Там уже сустились какие-то люди, милиция.

Место происшествия быстро обрастало толпой. Народ перетаптывался, шептался: «Убийство? Или сам?...»

– Иди сюда, – поманил меня Стас. – Отведи ее в машину. Пиздец какой-то, ну не стоять же ей тут!

Ноги плохо слушались, но я заставила их гнуться, кое-как подошла, не уверенная, что не потеряю сейчас сознания, подхватила под руки переданную мне женщину. Та не сопротивлялась. Обмякла и напоминала мешок, под завязку набитый безмолвным, онемевшим горем.

– Пойдемте, – говорила я.

Но женщина и так шла, и получалось, что я повторяла это самой себе. А так оно, наверное, и было.

– Сумка чья? Ее? – остановил нас кожаный.

Я перевела взгляд на то место, где минуту назад стояла Алла Семеновна.

– Наверное... Ее... Не знаю.

Но тут снова подскочил Стас, рванул следователя к себе, заматерился, чтоб оставил баб в покое:

– Мать это его! Врубаешься? Мать!

– Ну так я и говорю, раз мать, то пусть подпишет!

– Не врубаешься...

– Я не врубаюсь? Да я во все знаешь как врубаюсь! Я таких по три за смену вижу! Калдыри, из окон вываливаются...

– Кто калдырь? Кто калдырь, глаза разуй!

– Сам глаза! Руки убери! – вдруг разъярился следователь. – Сказал! Руки, быстро!..

Сумку подобрала Жанна. Странно. Когда она успела приехать? Она подхватила меня за локоть и поволокла в сторону машины. Замок, как назло, почему-то не открывался. А Алла Семеновна ждать уже не могла, стала тихонечко сползать из моих рук на снег.

И только посадив ее, наконец, в машину, закрыв дверцу и в изнеможении прислонившись к ней снаружи, я спросила:

– Это самоубийство?

Жанна неопределенно покачала головой:

– Не знаю. Я только что приехала. Но не убийство точно. Говорят, менты дверь взламывали. Закрыто было изнутри, на пять замков.

«Значит, самоубийство», подумала я. И вот с того-то момента все и началось. Хотя нет, на самом деле началось все не тогда.

Началось все еще раньше.

## 2

– Вы где? – кричит мне в трубку девушка-риэлтор.

Я морщусь и отвожу телефон подальше от уха.

– Да все там же, – устало отвечаю я. – Где ж мне быть-то? Переезжаю Вернадского, как я вам полчаса назад и говорила.

– Сколько мне тут еще стоять? Я замерзла! – девушка срывается на истерические нотки, как будто они могут что-то изменить в сложившейся ситуации.

– Ну хотите, пробирайтесь через перекресток и садитесь ко мне в машину. Здесь хоть тепло, – вяло предлагаю я. – Темно-синий «гольф»... сразу за троллейбусом... ровно напротив остановки.

Пешеходы, наверное, единственные участники движения в этом проклятом городе, которые хоть как-то могут перемещаться в пространстве. Прижав к себе сумочки и портфели, придерживая приподнятые от ветра воротники пальто и шуб и стараясь втянуть голову поглубже в плечи, они бесстрашно пробираются между намертво застрявшим автотранспортом, устремляясь в душные, но манящие банным теплом недра метрополитена. Метрополитен у нас в городе еще едет. Не сказать, что это придает желания им пользоваться, но надо отдать ему то небольшое, чем он пока может гордиться – загруженные под завязку вагоны щелкают автоматическими дверями (какая издевка: «НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ»!) по торчащим спинам и, хоть и не обещают вспотевшим и задыхающимся пассажирам физического комфорта, довольно исправно переносят вас из точки А в точку Б, изрыгая спотыкающуюся человеческую массу на нужной станции.

Человек – существо загадочное, по всей вероятности созданное богами в приступе глубокого цинизма или, в лучшем случае, – безоблачной небесной скуки. Порой мне кажется, что мы уже давно им надоели, и, наигравшись нашей планетой, творцы увлеклись каким-то новым проектом, а мы остались тут сами по себе. Меня всегда удивлял оптимизм верующих людей: купив грошовую свечу, они искренне верят, что теперь все их бесконечные просьбы и жалобы будут непременно услышаны, грехи прощены, а мольбы поступят в божественную канцелярию, где будут занесены в папки «текущее» и в надлежащем порядке удовлетворены. Откуда у людей берется такая уверенность, что их проблемы и горести кому-то интересны, будут поняты, вызовут желание помочь? В конце концов, это противоречит условиям рыночной экономики: люди ничего не могут предложить Богу взамен полученного! Игра в одни ворота. По сути, – элементарная наглость. Но род человеческий неутомим в своем оптимизме, промокшие пешеходы пробираются среди машин, и если заглянуть сейчас им в души, то вполне вероятно, каждый из них думает о чем-нибудь светлом и приятном, – о любви, о близких, о надвигающемся на столицу Новом Годе, наконец.

О лобовое стекло бьются странные осадки неопределимой консистенции. Такое ощущение, что снег растерялся при виде этого города и никак не может определиться, то ли сыпаться острыми льдинками, то ли плюхаться мокрыми хлопьями. Я выключаю дворники, и мир передо мной немедленно заволакивает мутью. Все-таки это больше похоже на хлопья.

– Вы – Полина? – наклоняется к стеклу бледное девичье личико. Крепко сжатый кулачок стучит в окошко.

Я киваю и отключаю блокировку дверей. После того, как у Жанны прямо посреди дня стащили с заднего сиденья сумочку, я стала запирается изнутри. Говорят, что с кризисом ожидается рост преступности. Я пока его не заметила, но «на Бога надейся, а сам не плошай».

На переднее сиденье соскальзывает совсем юная девушка. Отряхивает дубленку, жарко дует на посиневшие пальчики, стягивает капюшон и по плечам рассыпаются влажные золотистые локоны.

– Извините меня... Там такой снегопад! У меня тушь... у вас есть зеркало?

Я показываю глазами на солнцезащитный козырек над ее сиденьем. Двумя пальцами, аккуратно, девушка снимает с ресниц комочки поплавшей туши и качает головой:

– Еще раз извините. Полчаса стою... нервы-то не железные... Я подумала, тут минуты три идти, может мы с вами быстренько так, пешком?

Нет, предложение отменяется сходу. Пешком я никуда не пойду. Хотя бы потому, что не могу бросить машину посреди пробки. Но и не только поэтому. Я просто не хочу выходить из своего убежища, у меня давно уже нет сил смешиваться с *той* жизнью, месить новыми сапогами хлюпающую под ногами грязь. Вместо этого я предлагаю девушке сигарету. Она отрицательно крутит головой:

– Я не курю.

– Это правильно, – соглашаюсь я и закуриваю. Включаю погромче радио.

«В различных районах Москвы и области за прошедшие сутки выпал снег, который оказался неестественным, – сообщает нам почему-то радостный мужской голос. – Экспертиза показала, что техногенный снег появился в результате кристаллизовавшегося на морозе сырого пара, который выделяют предприятия и ТЭЦ столичного региона. Таким образом, Москва сейчас напоминает кастрюлю, закрытую крышкой. Все испарения утыкаются в эту заслонку. Если это пар, считают специалисты, то он кристаллизуется, а если это частички грязи, то конденсируют на себе атмосферную влагу и также выпадают в виде снега».

Я перевожу взгляд на девушку и развожу руками: мол, вот видите, техногенный снег... будем сидеть в машине.

– Вы же не хотите растерять ваши прекрасные локоны? – для пущей остротки спрашиваю я золотокудрую нимфу.

На вид ей не больше двадцати. Светлые глаза в ужасе хлопают ресницами. Она не хочет. Она уже пригелась в машине и тоже не спешит теперь на улицу. Какое-то время мы молчим и слушаем диктора по радио. Оказывается, в наступившем неделю назад похолодании есть и свои плюсы: бурые медведи в Московском зоопарке наконец-то вчера улеглись в зимнюю спячку. Стоявшие в первую декаду декабря рекордные температуры в плюс девять градусов не давали бедолагам заснуть, и животные мучались вместе с людьми, недоумевая, куда мир катится. Теперь они заснули. Ну хоть кому-то хорошо...

Впереди на перекрестке начинается движение, застрявшая там десятиметровая фура, наконец-то, сдвигается с места, и вскоре мне удастся обогнуть зажавший меня троллейбус. В нем, разумеется, нет ни единой души, кроме водителя, – ярко освещенный и при этом абсолютно пустой салон выглядит немного жутковато, будто из фильма-катастрофы – все его пассажиры давно сообразили выйти и пойти пешком. Черными ручейками они тянутся в разных направлениях вдоль университетской чугунной решетки. Молодежь смеется, мальчишки заигрывают с девочками, кто-то бросается снежками. Люди постарше идут быстрым шагом, без особого восторга, по-деловому. У всех в руках пакеты и сумки. Наверняка с новогодними подарками. Стариков на улицах нет. Российская столица прямо на глазах становится самым молодым городом мира. Старики давно уже не высовывают без особой нужды своих бугроватых носов из дома. Зачем? Всем очевидно, они лишние на этом празднике жизни.

Еще сорок минут, и наша машина подъезжает к когда-то величественному сталинскому дому. Половина цокольного этажа занята бывшим магазином дизайнерских светильников, о чем все еще свидетельствует сделанная изящными золотыми буквами надпись: «Галерея Lux in tenebris».

– Вывеску придется снимать, – косится на меня девушка-риэлтор. – Вы же без нее брали помещение, надо в таком виде и возвращать.

Я достаю еженедельник и быстро чиркаю автоматическим карандашом: «вывеска». Мы выбираемся из машины. Я долго роюсь в сумочке, пока не выуживаю, наконец, как обычно куда-то запропастившийся ключ.

– Света нет, – поясняю я, щелкая зажигалкой и при тусклом свете голубоватого пламени пытаюсь отключить сигнализацию. Металл быстро нагревается и обжигает мне пальцы. Черт! Волдырь останется... – Вообще-то у меня было освещение моими светильниками. Хозяйские мы сняли и, кажется, выбросили.

– Придется компенсировать, – девушка заглядывает на минуту в договор аренды. – Посветите мне, пожалуйста.

Я послушно подношу еще раскаленную зажигалку к договору.

– А у вас, кстати, не было изначально света, – говорит юная нимфа после паузы. – Вы так и снимали, просто с торчащими сверху проводами.

Одновременно мы поднимаем глаза на потолок. Слабо освещенный уличными фонарями, он напоминает кладбище, только вверх ногами: вместо крестов из него высовывается множество крюков. Еще недавно на них были развешаны продаваемые мной люстры. Сейчас же их мрачный вид вызывает мурашки.

– Здесь хочется повеситься, – нервно хихикает девушка.

Я слабо улыбаюсь:

– У вас еще все впереди.

Девушка серьезнеет и идет осмотреть помещение. Я же присаживаюсь на подоконник и закуриваю.

Когда-то... я задумываюсь... – да, почти ровно восемь лет назад, как раз тоже под Новый Год – я сидела на этом же подоконнике среди банок с краской и прочей атрибутики ремонтируемого помещения и ужасно радовалась вдруг пришедшему мне в голову названию «Lux in tenebris». В переводе с латыни оно значило «Свет во мгле» и, как мне тогда казалось, отлично передавало содержание моей галереи.

Снятое помещение тогда было совсем крошечным, едва ли в треть от сегодняшнего его размера, всего на два окна. В углу громоздились замирающие в предвкушении разгрузки картонные коробки с моими лампами: изящными, ручной работы абажурами из тончайшего, почти прозрачного на свет фарфора. Изделия хрупкие, нежные. Закончив дизайнерское отделение Суриковки, я сразу заинтересовалась фарфором. Сначала делала довольно обычные чашки и вазочки, затем переключилась на, как позже оказалось, никому не нужные арт-объекты типа мебели, которой невозможно было пользоваться из-за ее хрупкости, и только потом мне пришла в голову идея изготавливать светильники. Наконец-то, любимому мной материалу нашлось практичное применение: подсвеченный изнутри, фарфор создавал неожиданные эффекты, и эклектичные, висящие на грубых, почти средневековых цепях абажуры быстро стали пользоваться популярностью у покупателей. Вскоре, искренне радуясь моему успеху, отец разменял нашу трехкомнатную квартиру на две однокомнатные, одну из них сдал в аренду командировочному долговязому немцу и на вырученные деньги снял мне небольшое помещение для собственной галереи. Так, под шумок бурных фейерверков наступающего миллениума, и рождалась моя «Lux in tenebris».

На коленях выползшая из тревожных девяностых и лихо перемахнув тысячелетний рубеж страна отряхнулась, вздохнула полной грудью и буквально забурлила новой энергией, что передавалось и мне. Казалось, все постперестроечные ужасы остались позади, и ничто больше не угрожало крепко встающей на ноги молодой демократической державе, а – впервые доставшийся настрадавшейся России щеголевато одетый, бодрый и подтянутый президент – наконец-то позаботится об экономическом благосостоянии обычного населения. В светлое будущее верилось легко и с удовольствием. Засучив рукава и повязав комсомольского вида косынку, я с воодушевлением занялась малярными работами. Под звуки радио и запах свежесваренного кофе красилось легко и радостно, и мне казалось, что в каждой мазке присутствует частичка моей энергии, веры в успех и ожидающую меня славу дизайнера.

Позже успех действительно пришел, но не благодаря моему таланту, а лишь как следствие инвестированных Стасом капиталов, а фарфоровые светильники как-то незаметно отошли в прошлое, уступив место чужим, хромированным красавцам известных итальянских брендов. Появившийся в моей жизни Стас считал, что коммерческий успех – превыше всего, и галерея авторских светильников превратилась в магазин, правда сильно расширенный за счет соседних помещений, а я – из художника в «бизнесмена». В моей голове звучит голос Стаса: «Детка! Ты же не хочешь вечно пополнять собой ряды творческих неудачников? Надо идти в ногу с капиталистическим временем!»

Да и, если честно, работы после расширения стало столько, что я, в отличие от своего, буквально сраженного новостью отца, даже не успела толком расстроиться такой перемене.

– Ну, помещение принято, – радостно сообщает мне тоненький голосок девушки-риэлтора. Из полумрака, как привидение, медленно проступает ее золотоволосый силуэт. – Только вывеску придется снимать. Жалко ее... красивая такая. Вы ее на новом месте сможете повесить.

– Нового места не будет. Мы закрываемся.

– Совсем?... – нимфа изображает на личике сочувствующее выражение. – А что? Кризис?..

Я гашу окурок прямо о подоконник и молча протягиваю руку к зажатым в ее лапке документам. Быстро ставлю закорючку в положенных местах и подталкиваю девушку к выходу.

– Полина? Ключ-то отдайте...

– Ах, да! – я отдаю изящную пластиковую карточку. – Извините. Привычка... Вас до метро подвезти?

– Нет уж... лучше я пешком дойду, – улыбается риэлтор.

Девушка еще настолько молода, что думает, что она умнее всех. Ничего, это проходит с возрастом.

Я сажусь в машину и покорно пристраиваюсь в хвост пробке. Какой смысл размышлять, надо ли «идти в ногу со временем», если оно все равно не оставляет нам никакого выбора?



## 3

Когда я подъезжаю к дому, у меня окончательно портится настроение. Я поднимаю глаза к освещенным глазницам двадцати двухэтажного монстра, пытаюсь найти среди них свои. В них, разумеется, темно. Последнее время Стас не появляется раньше десяти вечера.

Я делаю круг по двору, соображая, куда бы приткнуться. Любимое мной место у газона занято неизвестным мне джипом. У меня устойчивое ощущение, что, каким-то мистическим образом, несмотря ни на какие кризисы, машин в нашем дворе с каждым днем становится все больше и больше. Что они давно уже научились размножаться как млекопитающие, просто естественным путем. Оставленные нами без присмотра на ночь, они подползают друг к другу и, тихо перемигиваясь фарами, совокупаются, а на утро на газоне появляется еще один джип. Сначала маленький и трогательный, вроде бы даже неприметный, но уже через пару ночей готовый к дальнейшему размножению.

Наконец, я вижу пустующее место у помойных баков. Как символично! Контейнеры давно переполнены, и мусор, как обычно, валяется вокруг, но, слава богу, из-за холода хоть не воняет. Я переключаюсь на первую передачу и аккуратно заезжаю на уже разрушенный моими предшественниками бордюр. Под шинами трещит и крошится раздавленное месиво из пластиковых бутылок, мешков и прочей дряни, и я болезненно морщусь.

Может, надо было поехать к Стасу в офис? Там светло. Тепло. Хотдоги из закусочной напротив. Люди, наконец... Не то, чтобы какие-то особенные, но все же живые, в смысле – человеки. С минуту я колеблюсь, рассматривая как снег плющится о ветровое стекло. Представляю, как Стас встает из-за стола и, направляясь ко мне, на ходу корчит раздраженную гримасу, и выключаю зажигание. Пошло все к дьяволу! Хотдоги... Размечталась. Мне бы просто снять промокшие сапоги...

В подъезде невероятно натоплено и висит удушающий запах кислых щей. Я знаю, это татарка Рената из угловой квартиры, как обычно, наварила десятилитровую кастрюлю на своих пятерых детей. Остатками этого варева она кормит дворовых кошек. И точно, вот из приоткрытой двери высовывается черномазенькая рожица одного из ее отпрысков. За ним появляется взрослая рука и втаскивает его обратно. Дверь на секунду закрывается, за ней слышится возня, детские протесты, потом из квартиры появляется сама Рената. Закутанная в шаль, с эмалированной кастрюлей в обеих руках, с перекинутым через плечо кухонным полотенцем. Я устало ставлю сумки на пол, возвращаюсь к подъездной двери и придерживаю ее открытой, глядя, как Рената шаркает тапочками мимо меня, выходит на улицу, неуклюже нагибается, широко расставив толстые ноги, и начинает переливать подванивающую жидкость в кошачьи миски.

– Кис-кис-кис, милые мои, кис-кис-кис... – протяжно зазывает она.

Потом разгибается, тщательно протирает край кастрюли припасенным полотенцем и поясняет: – А то что ж? Пускай подышают с голодухи, родимые?

Я киваю, соглашаясь. Закрываю за Ренатой дверь, подбираю оброненное полотенце и провожаю ее до квартиры.

– Лифт сегодня работает, не знаете? – интересуюсь я.

– Работает, чтоб его неладно. Грохочет, через стену слышно. Никакого покоя. Когда уже все это кончится? – отвечает она.

Судя по тому, что Рената грозит своим полотенцем, глядя куда-то наверх, на растрескавшийся потолок, последняя реплика обращена уже не ко мне, и даже не к жильцам нашей многоэтажки, а намного выше. Ну и ладно. Там, я думаю, не обижаются. Давно привыкли, что внизу все вечно недовольны.

– Ну сделайте что-нибудь для того, чтобы все это кончилось, – зачем-то говорю я.

– Что? – немедленно вскидывается Рената. – Поджечь дом?

– Например. Или можно менее радикально: если вас замучил лифт, продайте эту квартиру и купите такую же, но в дальнем от шахты конце коридора.

Татарка смеряет меня гневным взглядом и хлопает дверью.

Ну вот, как всегда, захочешь помочь людям, что-нибудь посоветуешь, и сразу же выходит, что ты всем враг. Люди общаются вовсе не за тем, чтобы давать друг другу советы, а лишь в погоне за слезливой жалостью. Они называют это сочувствием, *сопереживанием*.

Качнувшись напоследок, лифт изрыгает меня на выкрашенную в неприветливый зеленоватый цвет площадку. «Здесь жил Гога» приветствует меня криво нацарапанная надпись. В попытках как-то скрасить неуютность помещения кто-то из соседей развел у лифта целый тропический сад в кадках: есть здесь и гибискус, и зебристая афеляндра, а так же юкка, гардения и даже довольно удачный бонсай.

Мы со Стасом живем в этой квартире чуть дольше года. Не законченный сразу ремонт плавно растянулся на весь этот период, и если сначала мы говорили, что «там надо будет подкрасить и тут еще немного доделать», то теперь вообще избегаем затрагивать эти темы. То ли от общей апатии, то ли в связи с тем, что из-за экономического кризиса наши дела пошли совсем плохо, вялотекущий ремонт сам, стихийно прекратился, а все недоделки так и остались, как были, изредка вызывая приступы раздражения, но уже почти незаметные для нас.

И я еще лезу с советами к несчастной Ренате?

Я скидываю сапоги и мрачно люблюсь на следы от промокших носков, провожающие меня в ванную комнату. Это, пожалуй, единственное законченное пространство в доме и здесь мне по-настоящему хорошо: огромное, пришлось передвигать все стены, оно воплотило в себе все мои нереализованные дизайнерские потуги. Вместо половичков на полу деревянные решетки из мореного тика, над раковиной лиловая орхидея в серебряном горшке (последнее время меня не покидает чувство, что ей здесь слишком одиноко), а в углу расположилась моя особенная гордость – ручной работы, привезенная с Бали плетеная корзина для белья, из которой сейчас высовывается абсолютно не вписывающийся в интерьер кусок возмутительно-алой Стасовской рубашки. Я устало поднимаю глаза к висящему на стене Будде, также вывезенному с какого-то из островов, и напоминаю себе о главном: спокойствие и выдержка, рубашки тут нет, ничего вообще нет, это все иллюзия, Майя... Каждый вечер заходя сюда смыть с себя день, я механически засовываю торчащее белье обратно в корзину и плотно закрываю крышку. Моя потребность в упорядочивании окружающего нас хаоса основательно уже раздражает Стаса, меня же раздражает его хроническая неспособность считаться с моими просьбами.

Из зеркала на меня уставилось мое отражение. Худая, высокая блондинка, длинные и, как обычно, растрепанные волосы, темно-серый облегающий костюм. Моей фигуре многие завидуют, на мне все сидит. «Шьют-то теперь только на вешалок», сообщила мне недавно Ляля. Те, кто относятся ко мне получше, говорят, что если бы не волосы, я была б похожа на мальчишку. Косметикой я пользуюсь умеренно, ногти стригу коротко, к тому же зимой у меня вечные цыпки, и подаренный Стасом бриллиант выглядит на моих покрасневших неухоженных пальцах довольно не к месту. Но ухаживать за собой мне категорически лень. Мне вообще все последнее время лень, к тому же меня абсолютно устраивает моя подростковая угловатость. Она идет к моим действительно каким-то мальчишечьим широким скулам, упрямому подбородку и слишком прямому взгляду. Все это у меня от отца, жаль только, что я ограничилась лишь внешним сходством, не унаследовав его сильный и уверенный характер. С характером у меня беда. Он абсолютно несформирован, он прыгает без всякого предупреждения, и из неуверенной в себе близорукой рохли я за минуту могу стать грубой и бестактной, чем настраиваю всех против себя. Потом я жалею об этом, ночами прокручиваю в голове свои слова и мне хочется забрать их обратно, быть мягкой, спокойной, но у меня ничего не получается. Спокойствие должно идти изнутри, вырастать из чувства баланса, неведомой мне гармонии и удовлетворенности. Но чего-чего, а именно этого во мне нет.

У меня под ложечкой опять возникает мучительное, сосущее, почти вакуумное ощущение пустоты. Не помню, когда оно в первый раз появилось, но последние месяцы я ощущаю его все сильнее и сильнее – явственно, почти физически, – я даже дала ему название, «черная дыра»... Она приходит по несколько раз на дню: ниоткуда, внезапно, без всякой видимой связи с тем, чем я в данный момент занята. В ложбинке между последними ребрами, сантиметров на десять выше пупка (медики называют это место «эпигастральной зоной») появляется что-то, похожее на тошноту, на легкое ощущение голода, но не статического, не плоского, а космически глубокого, уходящего воронкой куда-то вглубь меня. Она похожа на туннель, открывающийся у меня из-под ребер. В нем возникает странный сквозняк, кругообразное и очень мешающее мне движение, засасывающее все мое внимание, уводящее его от окружающего мира в какую-то даль, темноту. Иногда мне кажется, что я слышу оттуда что-то, напоминающее Зов. Но смысл его мне неясен. Будто бы я должна что-то сделать, причем немедленно, и это очень важно, но что именно, кому должна и почему – я не понимаю, не чувствую. В целом эта черная дыра меня довольно сильно беспокоит. Однажды я даже заглянула к врачу. Заглотила жуткую кишку с лампочкой, дала вставить в себя зонд для желчного пузыря и просветить внутренности всеми видами аппаратов и лучей, но все напрасно. Никаких отклонений у меня не обнаружилось. «Психосоматическое, обычное дело», – утешил меня врач и прописал пилюли от гастрита. «Так гастрита же у меня нет?» – возразила я. Но потом одумалась и теперь принимаю эти капсулы как предписано, три раза в сутки. «Скоро у тебя появится от них и сам гастрит», – пообещал мне как-то Стас.

Запив очередную порцию таблеток, я отправляюсь на кухню. Выгружаю продукты. Угрюмый, еще в прошлой жизни запаянный в пластик батон. Немного бледного простуженного сыра. Нитяная авоська с приятно холодными, прямо с мороза, мандаринами «Марос» (этикетка смутно напоминает детство, всплывает картинка незрелых, завернутых в теплую шаль и оставленных на созревание в шкафу зеленых бананов). За ними – три плитки шоколада, пачка *приличного* кофе (дешевку Стас возмущенно выплюнет в раковину) и коробочка чая (разумеется, в пакетиках, волыниться с заварочным чайником у нас давно никому не охота). Все. На дне сумки остаются лишь две упаковки готовых замороженных ужинов – сегодня это курица-карри с рисом и овощами. Я кручу коробки с позвякивающими внутри льдинками так и эдак, сообщая, надо ли ждать Стаса, прислушиваясь к не подающему никаких признаков воодушевления желудку и, в конце концов, отправляю их в морозилку. По заключению Стаса, хозяйка из меня такая же, как и бизнесмен.

Пару минут я бесцельно слоняюсь вдоль стен, потом подхожу к окну, приоткрываю занавеску и смотрю на наш заснеженный балкон. Каждую зиму мне кажется, что эта мрачная чернота и завывающий вьюгой холод не кончатся уже никогда. Снаружи разыгралась настоящая буря, гонимый ветром по полу мечется черный полиэтиленовый пакет, ветер то надувает его, то резко теряет к нему интерес, и тот вяло сникает. На фоне уже слегка облезшей балконной стенки отчетливо отпечатался мой застывший в окне силуэт: лоб прислонен к холодному стеклу, руки сплелись вокруг тела. Время будто остановилось. Но нет, словно опровергая это утверждение, деревянные настенные часы – один из немногих уютных предметов, которые мне удалось протащить в нашу жизнь со Стасом, символ детства и одновременно память о родителях – мерно отбивают половину девятого.

Вздвигнув от неожиданности, я отлипаю от окна, возвращаюсь к холодильнику и опять в тоске смотрю на курицу-карри. Курица-карри смотрит на меня, и между нами устанавливается нечто наподобие контакта. Мне кажется, мы понимаем друг друга.

## 4

Через час я, тяжело дыша, поднимаюсь на последний этаж Жанниной хрущевки и заглядываю на кухню.

– Ну ничего себе! Это все ради меня?! – восклицаю я, балансируя на одной ноге и пытаюсь одновременно совершить два действия: избавиться от не желающего слезать сапога и выудить со дна сумки плитку шоколада.

Поразительное великолепие громоздящихся на столе яств никак не гармонирует с убранством скромной арендованной однушки, зато вполне сочетается с хозяйкой дома. Одета во что-то серебристо-перламутровое, Жанна смотрит исподлюбья. Ее, когда-то яркие, и лишь в последние годы потускневшие глаза мечут молнии, а в шарообразных, утыканных веснушками округлостях, так откровенно не помещающихся в рамки декольте, угадываются затаенные раскаты грома. Ее руки уперты в бока, ноги расставлены в бойцовской стойке, рыжие волосы лезут в глаза, но она их не убирает, лишь оттопыривая нижнюю губу и выпуская струю горячего воздуха, сдувающую в сторону особо надоедливые пряди. Она знает, что хороша в своей огненной сочности и частенько подыгрывает образу, добавляя крикливой итальянской жестикующей или по-простецки, по-рыночному растягивая слова, сознательно утрируя казанский свой акцент, но сегодня в ее сумасшедших зеленых глазах мне мерещатся всполохи искренней ненависти.

– Щас тебе! Устрицы, жульены из тигровых креветок, а в духовке еще и запеченная осетрина под этим... как его... соусом «Бешамель»! Скажешь тоже, ради тебя!

Не сказать, чтобы я когда-либо претендовала на прием тигровыми креветками, но в прозвучавшем «скажешь тоже» мне все-таки мерещатся обидные нотки. Хотя... суть происходящего становится мне предельно ясна.

– Рафик? – говорю я, борясь с желанием впиться глазами в блюдо с устрицами.

– А кто ж еще?! Вот ты объясни мне, наконец, как люди вообще так могут?! – (Жанна сует мне под нос четыре наманикюренных пальца). – Четыре часа! Понимаешь? Четыре часа назад он мне звонит. Сам, я не напрашивалась. Говорит, что уже едет. Более того, что уже подъезжает! Будет, мол, через сорок минут! Я, как полная идиотка, кидаюсь в магазин. Бросаюсь за готовку. А ведь я почти уже собралась сегодня в бассейн, специально разгребла все дела, послала нафиг клиентов, собрание в офисе... Ладно, хер с ним, с бассейном. Готовлю всю эту муру, салфеточки раскладываю, свечи... И?! Сорок минут проходят – нету. Ладно. Час проходит, полтора, два... – нет его! Я начинаю звонить сама... и?! И он, влекую так, просто сбрасывает мои звонки, без всяких объяснений! Звоню еще, – вообще отключает телефон. Нет, ну нормально?!

Поток эмоций постепенно иссякает и, напоследок вскинув руки, Жанна останавливается и оседает на табурет. Я отмечаю про себя, что раньше фонтанирующая драма могла длиться часами, теперь же все укладывается в жалкие минуты, и рассеянно раздумываю, считать ли такое ускорение за знак прогресса или все-таки регресса в отношениях?

– Слушай... – прерывает мои мысли Жанна (мраморный лоб теперь покоится на сложенных локтях, облако волос норовит залезть в облюбованную мной тарелку). – Я так больше не могу... Я его брошу!

Я киваю и, не ожидая приглашений, протискиваюсь мимо стола к жесткой, так не пишущей к драматическому горю табуретке. Хотя почему не пишущей? Горе, так же как и болезнь, не украсить никаким интерьером, – они серы и вульгарны, и, если хватает духа, то выносить их следует в одиночку. Жанна тем временем начинает всхлипывать, медная копна рассыпается по плечам и мне приходится незаметно отодвинуть устрицы подальше. Постучать подругу по спине или еще рано? – соображаю я, неуверенно косясь на ее тяжело дышащую перламут-

ром спину, на которой тоже оказывается декольте. Нет, пожалуй, еще рано. Преждевременные соболезнования только подливают масла в вечно горящее пламя Жанниной ненависти. Минут через пятнадцать будет самое то. Я в точности знаю сценарий, по которому протекут события ближайшего часа.

Последние лет пять или шесть Жанна состоит в утомительных и плавно мутирующих от плохих до отвратительных отношениях с красавцем восточных кровей, наделенным родителями волшебным именем Рафик. Хотя, надо заметить, что эпитет «красавец» прилип к утомленному татарину еще с поры их знакомства; в последние же годы сильно погрузневший и как-то резко уставший от жизни Рафик никакой особой красотой уже не отличается, и если бы не извечный его загар, полученный в солярии, то цвет его лица давно бы выдавал постоянные проблемы с кишечником и шумящее сердце. Но мужская красота – тема в России давно запретная, и, разумеется, не внезапное ожирение возлюбленного мешало Жанниному счастью, а тема банальная и отвратительная: наш Рафик через год признался, что женат и (еще через год) добавил, что религия у мусульман серьезная, не чета христианской проститутке, и разводов, к невероятному, просто космическому его сожалению, никак не одобряет. Все. Баста. Выривался очередной гиблый случай, и рациональная моя подруга, возможно бы, крутанула рыжим хвостом и отчалила восвояси, не будь она к тому моменту уже так сильно влюблена.

Еще до этого заявления, где-то на самой заре отношений, Жанна, как в омут, провалилась в своего избранника, с каждой ошибкой утопая все глубже и безвозвратнее: обрывала его телефон, высылала на рабочий адрес корзины с цветами и даже умудрилась, (слава богу, на короткий период) выкрасить свою шикарную, отливающую медью и медом шевелюру в так нравящийся ему цвет «вороное крыло». Стас зверел, наблюдая, как я часами маюсь у телефона, выслушивая подробное описание блестящих глаз и прочих достоинств Жанниного кавалера. В достоинства записано было все: от действительно статной тогда фигуры до милейшего шрама, оставшегося после удаления аппендицита. Узнав же о его несвободе, Жанна лишь тряхнула гривой и просто начала еще дольше задерживаться у зеркала: ее глаза зажглись огнем настоящего безумия, а гордо выставленный средний палец заряжал ее необходимой силой и надеждой. На карту теперь было поставлено абсолютно все: брошенная карьера дизайнера интерьеров (чтобы Рафик мог приезжать к ней в любое удобное время), отказ от любимой кошки (на которую у Рафика оказалась аллергия), постоянные массажные салоны, фитнес-центры и даже – (ход конем!) – имплантированные силиконовые вкладыши, придавшие ее и без того идеальной груди какую-то уже излишне потрясающую форму.

Возможно, бедолага Рафик бы развелся... не будь у него тогда двоих детей. Какое-то время он даже бормотал ереси, что вроде бы подумывает бросить семью, но его сообразительная супруга умудрилась молниеносно родить ему еще двух, и под тяжестью удвоившейся ответственности Рафик просел, резко набрал вес и ограничился тем, что объявил Жанну «любовью и болью всей своей несчастной жизни». С этого момента всем, включая даже Жанну, стало окончательно понятно, что больше, чем на роль любовницы, она рассчитывать уже не сможет. Появилась обычная в таких случаях обида, разочарование, обвинения в бездарно отданных годах, но в суете и рыданиях подходящий для расставания момент был пропущен, и уже мучительные для обоих отношения, как это часто и бывает, если вовремя не остановиться, перетекли в вялотекущее и изнуряющее постоянство. Рафик обреченно снял Жанне квартиру и, с частотой не более, но и не менее двух раз в неделю «заезжал на обед».

Года через два Жанна вернула себе натуральный цвет волос и устроилась на первую попавшуюся работу, где стала подыскивать другой вариант. Однако еще года через два, наполненных постоянными неудачами, умерила свои аппетиты и теперь билась лишь за ничего не меняющие нюансы, а именно – пыталась убедить Рафика в необходимости не снять, а на этот раз купить ей квартиру.

– Ну хочешь, позвони ему с моего мобильного, – предлагаю я без энтузиазма.

Жанна вскидывает голову и утыкает куда-то чуть левее меня осоловевший взгляд, означающий, что она, строго по заведенному сценарию, перешла ко второй фазе вечера.

– Зачем? – спрашивает она почти сонно, словно бы не понимая, о чем мы вообще говорим. – Я и так знаю, что там случилось. Позвонила благоверная, сорвала его по какому-то заданию. Видать, они вместе там, вот он и трубку не берет... Хотя, прикинь, дерьмо какое он все-таки? Ее нервы он бережет. А ведь мог бы зайти на минутку в мужской туалет, позвонить, сказать по-человечески, что не приедет... Ладно, что уж теперь?..

Ее взгляд, наконец, фокусируется на моем лице, потом (вслед за моим) переползает на остывшие жульены.

– Ну, что ты смотришь как собака? – вздыхает Жанна. – Бери.

Я наливаю ей виски. Поймав мой кивок, она выдавливает кислую, но все-таки улыбку.

Вообще-то Жанна, может быть, и стерва, но отнюдь не идиотка. По крайней мере, во всем, что не касается Рафика.

– Но он любит меня, понимаешь? – говорит она.

– Дорогая, люди вкладывают в это слово настолько разные смыслы...

– Прекрати. Он меня лю-бит! – отчеканивает Жанна по слогам, словно прибывая каждый гвоздями так, чтобы уже никуда не убежал. Спорить с такими интонациями бессмысленно и жестоко, и я поднимаю руки, сдаваясь.

– Может, этого... нюхнем чуток? – предлагает Жанна. – У меня есть.

Нет, я молча качаю головой. Не поможет. Вместо этого я предлагаю пройтись. Жанна морщится. Свежий воздух, уговариваю я.

– Где это свежий? В Москве что ли? – бурчит Жанна, но все-таки поднимается и плетется к прихожей. Натягивает лакированные сапоги.

Снег отказывается ложиться на отравленный химикатами тротуар и тает, образуя хлюпающую грязь. Где-то тоскливо ухает птица. Москва действительно, как объяснили сегодня по радио, напоминает накрытую крышкой кастрюлю, и от этого ощущение, что мы все, вместе с бурыми медведями в зоопарке и птицами, заперты здесь в хитроумной ловушке, только возрастает. Внезапно темноту, как вспышкой молнии, разрывает пронзительный вороний крик. Тревожно, надрывно прокашлявшись карканьем, птица так же неожиданно замолкает, и только ее черный силуэт еще какое-то время нервно пожевывается на скелете из голых обледеневших веток.

– Галерею закрыла? – интересуется Жанна, рассеянно пиная ногой пустую жестянку.

Я киваю.

– Прямо окончательно?

– Окончательнее некуда. Продажи встали. Стас все несколько месяцев высчитывал и сказал, что мне не пережить этот кризис. Хлеб-то народ и в войну покупает, но у меня же не булочная, а дизайн...

Жанна вздыхает:

– И что будешь делать?

– Уйду в монастырь.

– Ну я серьезно?

– И я серьезно.

Жанна смотрит с сомнением.

– Для того, чтобы выработать какое-то направление движения или план, надо как минимум понимать, где ты находишься, иметь какую-то систему определяющих тебя координат, ориентиров, – зачем-то разъясняю я. – А я ничего вокруг не вижу. Пустота одна, серость, бессмыслица.

– Опять ты за свое... – вздыхает Жанна. – Какие тебе ориентиры нужны? Вот те банк, вот те продовольственный, из первого деньги берешь, во второй несешь. Хотя, конечно, чтобы

в первом деньги не кончались, надо еще третью точку вмонтировать, типа работа, офис. Тогда в первой точке берешь, в банк несешь, оттуда в продовольственный, потом домой. Дом – это четвертая точка. Там ешь, на сытый желудок идешь спать, а с утра замыкаешь круг, идя в офис. Чем тебе не ориентиры? Целых четыре тебе насчитала, а ты говоришь, ни одного. Кстати, есть вариация: офис можно заменить на толкового мужика. Тогда у мужика берешь, в банк несешь... Хочешь, я могу тебе еще расставить с десяток точек поменьше, типа на бассейн, солярий, ресторан, шиномонтаж, кабинет психоаналитика?..

– Вот-вот. И тебя это устраивает?

– Что «это»?

– Ну тупость всей этой схемы? Ты вот чем занимаешься? Заменяешь точку Офис на точку Рафик? И пытаешься расширить точку Дом?

– А чем я еще должна заниматься? – обижается Жанна. – У тебя вот есть Стас.

Теперь не понимаю я:

– И что Стас?

– Ну Стас же вас двоих вытянет?

– Далеко не факт. У него тоже все плохо. Орет вечерами или пялится в телевизор. На днях прихожу, а он сидит напротив, глаза открыты, а по экрану рябь. Антенна выскочила, а он смотрит как ни в чем не бывало. Даже заинтересованное выражение с лица не убрал, забыл. К тому же я тебе не про деньги, а про...

Я замолкаю. Рассказать Жанне про Зов? Про сосущую пустоту под ребрами? Про то, что я почти не сплю ночами, вертюсь на смятых простынях, слушая беспокойные стоны Стаса, всматриваясь в постепенно светлеющее на востоке небо и пытаюсь нащупать ту точку, о которой умолчала Жанна, – ту точку, с которой все пошло не так, вкривь, в тупик?

Мне тридцать лет. Я довольно красива и по обыденным меркам удачлива, но у меня явно что-то не клеится, и я никак не могу понять что. Когда я лечу на самолете, меня посещают мысли, что, пожалуй, я не против, чтобы он упал. Я закрываю глаза, и цветные картинки стремительно проносятся передо мной: обезумевшие люди мечутся по проходу, кто-то пытается куда-то звонить, дети и женщины визжат, хватаясь друг за друга, ручная кладь падает вниз на головы пассажиров, мелькают искривленные ужасом лица, чья-то кровь, оторванный пиджачный рукав, кто-то гомерически хохочет, кто-то затыкает уши и пытается молиться... Я же – выпрямляю спину и представляю собой оплот невозмутимости. Я сижу у иллюминатора и смотрю на приближающуюся плоскую лепешку Земли. Я даже рада. Смерть избавляет меня от необходимости жить дальше, заполнять пустоту бессмысленными занятиями. Смерть избавляет меня от попыток каким-то неведомым мне образом отыскать здесь свое потерявшееся место, от пробирания по узким тамбурам и коридорам этого безумного и давно оставленного машинистом состава, от стыда при робких заглядываниях в щелочки чужих непристойных купе (толстая тетка, орущий ребенок, угрюмый подвыпивший тип с остановившимся взглядом, даже не оборачивающий головы и продолжающий пережевывать свой бутерброд – ах, извините, я не хотела, я ошиблась вагоном!). В какой уже раз я выхожу на незнакомом полустанке и, проводя ночь на голом стуле в ожидании следующего скорого, все кручу в руках билет, тщетно силясь разобрать по какому-то невероятному недоразумению затершийся номер состава, вагона и полки.

Сильно подозреваю, что именно поэтому я до сих пор живу со Стасом. Уж кто-кто, а он точно знает номер своего купе, более того, вне всяких сомнений он уже подружился с проводницей, и сейчас («ты пока присаживайся, детка»), сейчас уже принесут чай с лимоном, ватрушки и коньяк...

Самое обидное, что я совершенно не знаю, почему я такая. Когда, в какой момент я потеряла нить? Хотя... конечно же, я вру себе. Я знаю. По крайней мере, я знаю, откуда во мне пустота. Впервые она появилась еще там, в больнице, когда отец за минуту до смерти крепко

сжал мои пальцы. «Живи так...», начал он, но захлебнулся. Он почти не мог говорить. Его легкие были пробиты осколками ребер, у него не было шансов, и я поняла это, поймав взгляды врачей. – «Как?», прошептала я. – «Так...», снова попытался сказать что-то отец, но потерял сознание. «Как? Живи как?», спрашивала я потом у Стаса, давая увести себя из коридора, садясь в машину, невидящими глазами уставившись на мелькавший за окнами город. «Как?!» Но никакого ответа не было. Ни от Стаса, ни от врачей, ни от друзей и знакомых. «Люди не понимают, что говорят перед смертью», утешила меня Жанна, но я не поверила. Конечно же, именно перед смертью люди как раз понимают, что говорят. Вот тогда-то, в больнице, или чуть позже и появилась эта пустота. Гулкая. Растущая. Словно странный вирус, размножающаяся во мне и сгрызающая меня изнутри.

– ... и еще тебе надо найти новую работу, – продолжает тем временем Жанна.

Я вздрагиваю, очнувшись от своих мыслей.

– Зачем?

– Деньги будут.

– Чтобы что?

– Что значит «чтобы что»? А что тебе надо?

– Не знаю, – признаюсь я.

В темноте облысевшего зимнего сквера носятся две собаки: белая и черная. Их хозяйки – обе толстые, закутанные в одинаковые платки и вообще похожие как две капли воды – нахотившись на лавочке, потягивают пиво.

– Помнишь, раньше мы «Наутилус» слушали, на концерты «Аквариума» прорывались, на фильмы Соловьева... – говорю я. – В зале темнотень, а мы рядами качаемся из стороны в сторону, каждый зажигалкой светит, как свечой.

Жанна недоуменно поднимает брови:

– И? Куда ты клонишь?

– Да не знаю я сама. Но какое-то тогда чувство чего-то высокого было. Может не особо и было, но казалось, по крайней мере, что было что-то еще в жизни. Счастье какое-то, или хотя бы намек на то, что оно где-то рядом.

– Не знаю. В Казани ничего такого и раньше не было. Но в целом мне понятно, – констатирует Жанна. – У тебя очередное обострение бунтарства. Не знаю, чем тебе помочь. То ты всем наперекор свои светильники ваяешь, вместо того, чтобы на нормальную работу устроиться. То потом бреешься налысо и уходишь на год в кришнаиты...

– Ну ты вспомнила. Мне тогда семнадцать было...

– То бросаешь того...

– Кого?

– Ну, не помню имя. Того, который обещал тебе, что ты за ним как у Христа за пазухой будешь.

– Не поняла?

– Ну того, у которого по дому тигр ходил? Богатого придурка?

– А... – Я, кажется, наконец вспоминаю. – Ну так я поэтому и в кришнаиты ушла, чтоб он от меня лысой отстал.

– Да не спорь ты! Ты вечно все норовишь не как все. Рожать отказываешься.

Мне начинает надоедать:

– Кого рожать, Жанна, кого?!

– Детей. Кого ж еще? Будущее поколение.

– И что я ему расскажу, поколению этому? Что я сама ни черта в жизни не понимаю? Что есть точки Банк, Продовольственный и Психологический? Что есть деньги и квартиры, что работать в международной корпорации социально выгоднее, чем ваять свои лампы, что



кришнаиты оказались придурками, и что у моей подруги Жанны есть офигительный кокаиновый дилер?..

– Да ладно, не заводись. Про детей это я так, не знаю зачем сморозила. Все эти пеленки, вечные спотыкания об игрушки и десять лет жизни под аккомпанемент надрывающихся из телека мультфильмов... Тоска. Согласна. Дети – это вампиры, они родителей сосут. Чем крепче и румянее малыш, тем обычно тоскливее глаза у родителей. Особенно – у мамаш. Вот на Лялю посмотри, совсем зашоренная стала, все только про детей и говорит. Или взять Рафика! Бедный! Четверо – это даже не Лялины трое! Как он жив там вообще до сих пор? Ты заметила, как он дико в весе прибавил? Как будто все силы закончились. А на самом деле он...

– Только давай не про Рафика опять? – прошу я. – Бросала б ты его, сосредоточилась на чем-нибудь еще.

Жанна бросает на меня взгляд, наполненный упреком.

– На чем? На счастье твоим?

– Хотя бы.

– Спасибо, дорогая, сама его ищи. Только имей в виду, такие поиски до добра не доводят. У нас вот на работе случай был недавно. Тебе будет интересно. Наш исполнительный директор врезался в столб. На приличной скорости. Пьяный ехал, все как полагается. Но не в этом дело. Короче, врезался, попал в больницу, провалялся там неделю в коме, а потом из нее вышел, и не узнать его. Ходит, вот как ты, весь глючный, счастья в жизни ищет. На летучках начал цитаты из Бхагават-Гиты зачитывать, медитации в обеденный перерыв устраивать, а через месяц и вовсе потерял ко всем нам интерес. Стал грустный, опустился, начал в одном и том же ходить, щетина на щеках трехдневная. Жалко мужика, нормальный был раньше. Короче, пожалела его наша рекламщица Светка и дала ему телефон гадалки какой-то. Хорошей, говорит, не шарлатанки. Он пошел, бедняга. А та ему чего-то наговорила, что он и вовсе уволился. Продал машину, сдал квартиру и свалил куда-то к черту на куличики. «Отпустите меня в Гималаи, а не то я завою, не то я залаю», короче. Рерих ненормальный. И теперь шлет оттуда открытки! Он, в каких-то тряпках, а сзади горные козлы бородатые. Или он, а вокруг тибетские попрошайки. На холодильник их вешаем в кухне, картинками вперед, чтоб не читать, что на обороте.

– А что там на обороте?

– Да что там может быть? Я уж не помню дословно, но мура какая-то про счастье. Напрочь у человека крышу снесло.

Надышавшиеся морозом, продрогшие мы возвращаемся к моей машине, и в Жаннином взгляде загорается надежда:

– Может, поднимешься? Еще виски осталось...

– Не... поеду. Что-то не пьется. Да и потом, я за рулем. Права отнимут.

Забравшись в машину, заваленную свежеевыпавшим снегом, я дико жалею, что я не бурый медведь. Как бы мне здесь сладко заснулось, прямо на краю парка, сразу до весны. А там – по крайней мере, солнце, какая-то физиологическая, обусловленная не жизнью, а климатом, чисто весенняя надежда на... На что? Хороший вопрос.

Я опускаю заледеневшее стекло и кричу:

– Погоди! Говоришь, у тебя там был кокс?

У заманчиво посверкивающих кристалликов этого порошка есть два существенных преимущества перед алкоголем: они не мешают водить машину, и никакого теста на них у гибдэдэшников пока не придумано. Так, странные, конечно, глаза у девушки, но, чего удивляться, и жизнь-то у нас тоже, мягко скажем, *странная*.

## 5

На следующее утро наступает первый день моей безработицы. Ни свет, ни заря меня будит Стас. Как обычно невыспавшийся и раздраженный, он расталкивает меня со словами: «Что за хрень, детка? Где все мои рубашки?»

Я пытаюсь отбрыкаться, что ничего не знаю, но Стас так настырен, что я признаюсь, что сдавала их в химчистку и, разумеется, забыла донести до дома: они так и валяются у меня в машине. Мне приходится подняться, прямо на голые ноги нацепить сапоги и спуститься во двор. Сон окончательно перебит. Вернувшись в квартиру, я бросаю стопку глаженных рубашек на кровать и тащусь сварить себе кофе. Стас никогда не делает сразу две чашки, всегда только одну – на себя. Он уверен, что у него ни на что нет времени. Мне кажется, что образ вечно спешащего бизнесмена подобран им в каком-то голливудовском шедевре, возможно, еще в годы жизни в Америке, хотя сам Стас считает себя очень европеизированным и глубоко презирует «тупоголовых америкашек». Стас вообще с удовольствием презирует людей, считая всех кругом идиотами. Раньше мне это в нем нравилось...

Стас тщательно выбирает себе рубашку и через пять минут останавливается на бледно-розовой. Теперь из тесного шкафа стремительно выбрасываются мятые костюмы: черные, серые, в тонкую полоску.

– Дьявол! – раздражается Стас. – Когда, наконец, у нас будет готов нормальный walk-in closet? Ты звонила на фабрику? Когда эти идиоты уже пришлют нам все эти полки и вешалки?

Комната-шкаф – тоже почерпнута им из какого-то фильма. В нашей трешке на нее даже нет места, и для осуществления Стасовой мечты нам пришлось поставить перегородку посреди спальни. Теперь в комнате едва помещается огромная king-size кровать, возвышающаяся посреди раскиданных вещей, стопок книг на полу и попадающихся то тут, то там рулонов с еще ненаклеенными обоями. Зачем нам такая кровать – я не знаю. Мы не занимаемся любовью как минимум уже три месяца.

Справившись с костюмом, Стас долго рассматривает свое отражение в зеркале, пару раз растягивает губы, репетируя лучезарную улыбку, приглаживает волосы слегка манерным жестом (одной ладонью, не касаясь волос широко растопыренными пальцами), и брезгливо дышит в ладони, проверяя свежесть своего дыхания. Через год Стасу грянет сорок, и, как большинство молодых мужчин, он панически не готов к этому. Он высок и худощав, хотя если бы не хорошо подогнанные по фигуре дорогие костюмы, его следовало бы назвать долговязым. От его детства, прошедшего с вечно забинтованным горлом и унижительной температурой в 37,2 градуса, у него остались болезненно тонкие ноздри, и сейчас почти прозрачные и оттенком гармонирующие с его розовыми рубашками, влажные ладони и испарина, при малейшем же поводе выступающая на высоком, с уже намечающимися залысинами лбу. Если задаться несложной целью вывести его из себя, то достаточно сделать то, что его нечувствительные родители совершали постоянно, а именно назвать его *Стасиком*. Или же, еще проще, можно вскользь, как бы небрежно, проходя мимо телевизора, похвалить Бондарчука-младшего. Светло-серые глаза Стаса моментально потемнеют, начнут отливать свинцовой тяжестью, губы подберутся внутрь, и последует хлесткая, наполненная обидой тирада об Утонченности, которой некоторые плебеи (вот еще одно его любимое слово) с детства лишены. К слову сказать, детство хилое, но при этом крайне амбициозного Стаса покрыто поволокой низко стелющегося тумана, из которого лишь пару раз за те семь лет, что мы провели вместе, да и то благодаря сильному подпитию, проступили отдельные фрагменты. Если не считать совершенно одинаковых шестнадцатизэтажек и пустырей, из которых состоял его унылый окраинный район, то в большинстве своем они представляли из себя части человеческого тела: алые, натасканные дворовыми подростками уши, до стога заломленный за спину локоть, затекший

синяком и ненавистью глаз, и (этот фрагмент оглушил меня своей пронзительностью) мокрые, трясущиеся, с липкой струйкой кровавой слюны губы, с тихим подвыванием клянущиеся зеркалу вырасти и Их Всех *убить, убить, убить!*

Цепкий (не сильный, а именно цепкий, юркий, изворотливый, и в некотором роде даже какой-то *нечистоплотный*) ум Стаса уже к середине школы сообразил, что шансов добиться чего-нибудь физической силой у него нет. Его неудачные, по его горькому убеждению, несправедливо доставшиеся ему родители не могли помочь сыну ни деньгами на репетиторов, ни надлежащими полезными связями, и, под издевательский хохот одноклассников, Стас отчаянно штудировал учебники, находил в себе силы заискивать перед преподавателями (животная детская кара за этот грех следовала практически незамедлительно), но, в конце концов, все-таки вырвал из толстой разведенной и ненавидящей весь белый свет директрисы золотую медаль, свой пропуск в мир престижных вузов. Дальше пошло уже проще. С отличием окончив Плешку, он продолжал учиться, пару лет простажировался в Чикаго и, привезя на родину отличный английский язык, подержанный двухдверный «понтиак» и выстраданную в гимнастическом зале фигуру, открыл свою финансовую компанию.

Вскоре после его возвращения на родину мы и познакомились. Не добившись уважения сверстников в детстве, Стас с лихвой компенсировал свою страсть к руководству, сразу же взяв надо мной шефство, и из нежной и так нравящейся мне «девочка моя» я довольно быстро превратилась в его «детку». Мольбы и сожаления, нет-нет да мелькавшие на лицах моих родителей, больше не трогали меня, как не тронул и семейный вердикт, вынесенный родителями незадолго до их гибели и гласивший, что именно этой моей слишком быстрой капитуляции я и обязана тем, что Стас так никогда и не сделал мне официального предложения. Мы жили «просто так», не расписавшись, и с годами я убедила, – если не родителей, то, по крайней мере, себя – в том, что «все так живут».

– Детка, помоги мне с галстуком, – скорее командует, нежели просит Стас.

Я шмыгаю носом и завязываю идеальную петлю.

– Что за насморк? – Стас берет мой подбородок в руки и внимательно вглядывается в лицо. – Это кокс? Ты поэтому пришла под утро?

Я вырываюсь и иду на кухню.

– Не начинай, а?

Стас идет за мной.

– Что не начинай?

– Ничего не начинай.

– Мне что, позвонить этой идиотке и разъяснить ей, что б она катилась в hell в гордом одиночестве? – Стас вечно вставляет английские слова, и раньше мне это тоже в нем нравилось. – По-моему, тебе и без нее есть чем заняться.

– Чем же, например?

– Например, ремонтом!

– И как ты это себе представляешь?

– Найди нам турков.

– А у нас есть деньги на турков?

– Тогда найди каких-нибудь таджиков. Есть же, в конце концов, в этом городе свободные таджики?

– Нету таджиков. Поезда переполнены, новости не слушаешь? Домой они все валят, кризис в стране, не в курсе?

Стас морщится. Свежевыбритый, пахнувший одеколоном и подтянутый, в застегнутом доверху пиджаке он, стоя, пьет свой кофе и смотрит в окно. Там его ждет Город. Каждое утро Стас смотрит на проснувшегося многомиллионного монстра, как будто оценивая силы про-

тивника и одновременно бросая вызов: «Ну? Кто кого сегодня?» Под мышкой у него зажат свеженький выпуск «The Economist».

– Хочешь, подогрею тебе курицу? – предлагаю я.

– Из коробки? Сама ешь, нет времени, я встречаюсь с Артемом.

На ходу опрокинув в себя остатки кофе, Стас привлекает меня к себе, недовольно чмокает в лоб и, споткнувшись об обойные рулоны и хорошенько проматерившись, хлопает дверью.

Я только вздыхаю. Я знаю, Артем ждать не любит. В последнее время он еще более нервный чем Стас. Мне доподлинно это известно от Ляли – моей институтовской подруги, которой выпало счастье стать его женой и родить ему трех препротивных крошек, из-за которых все наше общение почти прекратилось, и теперь мы виделись только на корпоративных вечеринках. Стас и Артем работали в одном офисе, то ли конкурируя, то ли помогая друг другу в каких-то непонятных ни мне, ни Ляле финансовых операциях, и периодически пропадая по пятницам по ночным клубам. Вернее, то, что они находились в ночных клубах, знала только я. Наверное, это можно считать прерогативой нашей со Стасом нерасписанности, а, следовательно, некоей свободы, которую он чувствовал по отношению ко мне. По крайней мере, так считала Жанна, находящаяся в вечных поисках подтверждений того, что ее нелегальный статус при Рафике имеет свои преимущества. Замужней и многодетной Ляле сообщалось о приездах иностранных коллег, обязательных приемах и затянувшихся совещаниях, от которых бедный Артем очень страдал, ходил по утрам с землистым оттенком на припухшем лице и периодически выпячивал нижнюю губу и отказывался снимать трубку, когда ему звонили особенно надоевшие ему клиенты. Догадывалась ли Ляля о том, что все эти клиенты оказывались безупречно стройными блондинками, еще не реализовавшими ее мечту и не обладающими ни двухметровым бизнесменом-мужем, ни двумя нянями, уборщицей и личной массажисткой, или искренне верила в пятничные заседания директоров, – никого не интересовало. Ляля вообще никого не интересовала. Располнев и окружив себя колясками, она реализовалась, и была по этому поводу списана всеми со счетов. Реализовавшиеся люди находятся вне конкуренции. Выпадают из круга. Поглощаются миром орущих по телеку мультфильмов или отбывают в не менее виртуальные горы и шлют оттуда открытки с козлами и тибетскими попрошайками, которые вешаются на холодильник текстом назад.

Еще часа два после того, как Стас уходит, я слоняюсь из угла в угол, пью горький кофе, раз двадцать заглядываю на свою страницу в «одноклассники». Там ничего не меняется. Из ленты активности друзей я узнаю, что какая-то девица из моего класса добавила новые фотографии. От нечего делать кликаю на них и любуюсь любительской эротикой: одноклассница снята на фоне ванной комнаты, на заднем плане виднеются линялые полотенца и стиральная машина. На по-зимнему бледном теле нет ничего, кроме кружевного красного лифчика. Девушка полновата, и лифчик впивается в мякоть, образуя неприятные ямки и складки. Слава богу, фотография сделана всего по пояс. Я зачем-то кликаю на другие ее фотографии. Там она выглядит приличной женщиной, двое детей, муж... Часто встречаются омерзительные надписи: «я и мой сынулька», «я (слева) и моя младшенькая на празднике в детском саду». При чем тут тогда дешевое порно в красном лифчике? Кризис среднего возраста, панихида по уходящей молодости, последние попытки замужней женщины привлечь внимание?... Чем мы все тут занимаемся?

Выключив компьютер, я подхожу к окну. На улице, разумеется, все растаяло. Я долго рассматриваю город с высоты семнадцатого этажа. Паутина прочерчивающих снег мокрых улиц напоминает черные варикозные вены. Мне приходит в голову, что если в марте выброситься из окна, то получатся «семнадцать мгновений весны». По мгновению на этаж...

Нос после вчерашнего онемел и не дышит. Прихватив книжку и собираясь впасть в анабиоз, я забираюсь обратно в постель, чтобы немедленно вздрогнуть от телефонного звонка. Я

тянусь к трубке, с минуту слушаю Стасов крик, потом откидываюсь на подушке и, даже забыв нажать на кнопку отбоя, закрываю глаза. Сегодня будет не до книжки. Сегодня будет уже ни до чего, потому что... – я с трудом привыкаю к полученной информации, – потому что десять минут назад из окна седьмого этажа выпал и насмерть разбился Петровский.

## 6

Алла Семеновна сидит в машине как мышь, и мне приходит в голову наклониться и проверить, не потеряла ли она сознание. Но нет, она сидит прямо, неподвижно глядя перед собой. Юбка на коленях некрасиво задралась, но она ее не поправляет. Рука тербит сумочку, то открывая, то закрывая латунный замочек. Над верхней губой что-то блестит. Я наклоняюсь к самому стеклу. Нет, не слезы, – пот.

Засовывая какие-то бумаги в сумку, к нам подходит Стас. За ним подъезжает «вольво» Артема.

– Водку привез? – спрашивает Стас.

– Не успел. Ляля сейчас привезет.

– Офигел? Зачем нам тут Ляля? Она ж детей притащит?

Но Артем только устало отмахивается.

– Посидят в машине.

Действительно, вскоре во двор аккуратно заруливает Лялин внедорожник, из которого немедленно высыпают старшие дети. Младшего, в автомобильной люльке, Ляля несет сама.

– Уйди отсюда. Водку давай и езжай. Нефиг тут детям, – раздражается Артем, но Лялины старшие отпрыски уже несутся к ленте ограждения, за которой хлопочут медики.

Кожаный следователь со сцены исчез, наверное, поднялся в квартиру. Петровского тоже уже подобрали. Перенесли в карету «скорой помощи», а смывать его мозги со снега – работа не для милиции. Этим займется очередная оттепель. Или никто. У нас ничего никому не нужно.

– Дверь ломали, – рассказывает Жанне Стас приглушенным голосом, чтобы не слышала Алла Семеновна. – Он был один. Надька с детьми, как обычно, на море. Проводил их вчера, потом заперся в квартире. В офисе его ни вчера вечером, ни сегодня не видели. Сидел, то ли бухал, то ли просто, а потом открыл зачем-то окно и упал.

– Не упал, а шагнул, – вставляю я.

Стас бросает на меня недобрый взгляд и продолжает:

– Представить себе не могу, просто в голове не укладывается. На пике мужик ушел, просто на пике! Жена *нормальная*, – (я ловлю на себе еще один укоризненный взгляд), – дети здоровые, бизнес в полном порядке, да какое там в порядке, – полный успех, во всем! У всех кризис, а у Петровского акции только растут. Дом в Испании, дом в Швейцарии, яхта как у Абрамовича, и сердце пашет, и хрен стоит!.. И надо же такое, такая глупая смерть, выпасть из окна собственной квартиры! На кой черт он его вообще зимой открыл? Воздуха не хватало?

Поймав детей и кое-как позапихав их обратно в машину, к нам подплывает Ляля. Шуба нараспашку, красная ангорова грудь вперед, в руках бутылка и стаканчики.

– Ей налей, – кивает Стас в сторону моей машины. – У нее шок. Пусть выпьет, и отвезем ее домой. Только одну оставлять ее нельзя, надо, чтоб кто-то остался.

– Я могу, – вызывается Артем, за что немедленно получает взгляд от Ляли.

– Да что ты смотришь? Детей зачем приперла? Конечно, я останусь, не ты ж! – заводится он.

Алле Семеновне дают полный пластиковый стаканчик водки. Безучастно, как-то даже не сразу его заметив, она берет его, делает глоток и немедленно закашливается.

– Мне тоже налей, – просит Стас.

– Это было самоубийство, – как заведенная зачем-то повторяю я. – Люди не открывают зимой окна нараспашку, и не стоят там, здоровые, трезвые, полные сил, до тех пор, пока случайно не вываливаются.

– Прекрати, – наконец, раздражается Стас. – Ему не с чего было себя убивать!

– Было. С того, что вы все отказываетесь признавать. С того, что наши жизни тупы и тоскливы! Просто для того, чтобы это понять, надо остановиться, а остановиться получается только у тех, кто уже все доделал. То есть у Петровского. А другие заняты по горло, и ни черта вокруг не успевают видеть.

– Другие, – это кто? – звереет Стас.

Но я тоже уже завелась.

– Другие – это другие. Те, кто еще не купил яхту, у кого акции в кризис не растут.

– Рафик сегодня, кстати, потерял треть состояния на акциях, – вставляет Жанна.

– Ну, и хорошо! Не будет денег на любовниц. Останется в семье! – заявляет тут же Ляля.

– Где? В гнезде?

– В семье!

Нервы сегодня у всех не в порядке. Ляля по всегдашнему своему сценарию начинает защищать семейные ценности, обвиняя Жанну в разорении гнезда. Жанна, как всегда, начинает горячиться, доказывая, что она не хуже всех, и тоже будет защищать брак, когда у нее лично появится хоть намек на что-то подобное. Стас постоянно прилизывает волосы и оглядывается на окна седьмого этажа. Артем просит подлить ему водки. Ляля, переключившись с Жанны, вырывает у Артема стаканчик. Жанна принимается плакать и зачем-то звонить Рафику. Рафик, как обычно, не берет трубку. Дети снова вырываются из машины и бегут к толпе у ограждения.

– Стоять, сволочи! – орет Ляля, прыгая за ними, поскальзываясь, хватаясь за какого-то прохожего, извиняясь на ходу и пытаясь догнать мальчишек.

Воспользовавшись суетой и криками, я снова отхожу к фонарному столбу и сплевываю кислую слюну. Я знаю, когда Ляле удастся снова запихнуть детей в машину, она вернется, поправит мне волосы и заботливым тоном посоветует завести своих детей. Все это мы уже не раз проходили.

Мозги так и валяются на асфальте. Оглянувшись, за ленту проскальзывает кто-то из зевак. Быстро приближается к месту происшествия, наклоняется и подбирает очки. Секунду рассматривает их, повернувшись к фонарю, потом сует в карман.

Наконец, из подъезда выбегает кожаный. В деле открылись новые факты, супруга Петровского, оказывается, получит невероятную страховку. Глаза у следователя горят, появляется надежда на убийство, а, значит, повышение, ну или хотя бы премиальные.

– Одурел? – ревет Стас. – Долго думал?!

Они с Артемом срываются в сторону подъезда. Их черные силуэты мелькают на фоне грязного снега: стенькоразинский Артем в короткой косухе и казаках, худощавый и слегка сутулый Стас в длинном пальто и французском берете. Америка и Европа, оба в российском варианте, – уже в тоске, уже под водочкой.

У меня начинает кружиться голова.

Петровский – старый друг Артема. Когда Стас открыл свою компанию, Артем привел в качестве клиента Петровского, и дела моментально пошли в гору. С тех пор Стас буквально его боготворит. Артем относился к Петровскому сначала завистнически, но, после того, как тот на порядок обогнал их всех и стал тем самым Петровским, что ворочает сейчас десятком сетевых бизнесов, и еще пятью-семью проектами поменьше, Артем успокоился, отдал ему лавры первенства и ограничивался тем, что держал свою яхту в том же клубе. Стас же и вовсе довольно быстро выпал из соревнования и проникся к Петровскому искренним уважением. «Смог мужик. Сделал. Почет!»

До меня, кажется, постепенно доходило, почему моя версия про самоубийство так всех раздражала. Это была пощечина всем Стасовым мечтам, всем устремлениям Ляли и Артема, и всем идеалам Жанны о настоящем мужчине. Петровский был хорош на всех фронтах: отличный семьянин, удачливый коммерсант, шикарный мужик. Они были готовы к несчастному слу-

чаю, даже к убийству, но только не к тому, что великого и могучего Петровского задолбала его жизнь. Причем, задолбала настолько, что, отправив жену и детей на Мальдивы, вернувшись из аэропорта, Петровский на сутки запирается в квартире, не выходит в офис, не снимает трубку, а напивается в хламину, в стельку, и сигает в окно. Когда я приехала, из открытого окна еще орала на весь двор музыка. Том Уэйтс.

*Grapefruit moon, one star shining, shining down on me.  
Heard that tune, and now I'm pining, honey, can't you see?  
'Cause every time I hear that melody, well, something breaks inside,  
And the grapefruit moon, one star shining, can't turn back the tide.*

Позже ее выключили менты, но она еще долго звучала у меня в ушах, и мне хотелось выть.

Через час мы садимся в машину. Хлопают дорогие дверки. Алла Семеновна едет с Артемом, все остальные – по своим домам. Стас постоянно курит, придерживая руль одной рукой, но не дает машину мне. И всю дорогу молчит, от чего мне становится совсем не по себе.

– Знаешь, я тут статью на днях читала, в «The Guardian», – говорю я. – Пишут, что мы обратно к совку катимся. Ну, про танки в Грузии, про хамский тон президента, про все эти его выступления перед Европой, цензуру, отсутствие оппозиции, задушенных олигархов... Но главное, что меня поразило, так это мысль, что у нас не осталось никакой идеологии. Вообще, понимаешь? Ноль. Они забыли нам ее придумать. Раньше хоть какая-никакая, но у народа была цель – торжество социализма, потом вера в гласность, в перестройку, все такое. А сейчас? Национализм, шовинизм, антиамериканизм и все. Это ж не идеология, а так, негатив один. А положительных идей нет. Вообще никаких идей в обществе больше нет.

Стас с трудом разлепляет губы:

– И давно тебя беспокоит общество?

– Да причем тут общество? Я про нас. Типа вообще, как пример.

– Пример чего?

– То того... как бы это сказать? Что могут быть еще какие-то вещи в жизни, в смысле – вовсе не *вещи*.

В окне мелькают сумеречные изображения проспекта: массивные, некогда величественные дома, потоком движущиеся согбенные под непогодой пешеходы: под маской деловитости стыдливо игнорирующие пощечину в виде потрепанной, неловко раскорячившейся у мусорного бака старухи – с голой бесперчаточной рукой, с позвякивающими в авоське пустыми бутылками.

Зов под ребрами усиливается.

– Мне плохо, – говорю я.

– Удивила. Всем плохо!

– Да нет, в буквальном смысле. Меня тошнит.

Внезапно мой живот сводит судорогой. Согнувшись пополам, я прошу Стаса остановиться. Открываю дверку и даже не успеваю выйти из машины, как меня рвет прямо на обочину.

Стас присвистывает.

Вытерев рукавом губы, я закрываю лицо руками и откидываюсь на спинку сиденья.

– Это все твои таблетки, – говорит Стас. – Позвони врачу.

– Клиника уже закрыта.

– Тогда звони на сотовый.

– Неудобно. Поздно уже.

– Поздно – это когда у тебя язва откроется.



Неуверенно посмотрев на часы, я все-таки набираю номер. В трубке слышны отдаленные раскаты футбола и уютное позвякивание тарелок. Нормальные люди вечерами смотрят телевизор и жарят картошку, их друзья не выкидываются из окон, и сами они не блуют из машин.

– Да? – наконец, говорит врач.

Мой гастроэнтеролог – умный и приятный человек, как и все полноватые очкарики, добрый и настолько мягкий, что даже дал мне свой мобильный номер.

– Это Власова, – говорю я. – Та, которая...

– Да, да, я помню. С Зовом.

Мне становится стыдно. Моя болезнь настолько дика, что меня запоминают.

– У меня опять, – извиняюсь я. – Но в этот раз сильнее, до рвоты. Так сильно еще пока ни разу не было. Может, есть какие-то другие таблетки? Или... не знаю, что-то еще, чтобы это как-то... прекратить?

Но врач очень мне сочувствует, он понимает, он не сердится и только просит неизвестную мне Машеньку сделать потише звук. Он даже готов пропустить из-за меня парочку голов, или остывший ужин, но, к сожалению, ничем не может мне помочь с моей проблемой.

– Это не болезнь у вас, я ведь говорил, – в какой уже раз повторяет он. – Психосоматическое – это нарушения не физиологические. Это такие чисто человеческие состояния, невозможные у животных, развивающиеся на фоне эмоциональных нарушений, конфликтов и стресса.

Все это он уже не раз мне говорил. Я поняла, собаки Зовом не болеют. Это прерогатива человека, да и то не любого, а почему-то именно меня.

Я пожимаю плечами, глядя на Стаса. Он знаком просит переключить телефон на громкую связь. Теперь голос врача звучит в машине как глас Божий.

– История психосоматики изучается со времен Гиппократов. Но человеческая душа настолько сложна, что ни к чему толком прийти не удалось. В целом, если исключить функциональную асимметрию мозга и посттравматический фактор, которых, как я понимаю, у вас нет, то не остается совсем ничего. Психоанализ. Или таблетки, которые я вам уже давал.

– Но они же не помогают? – возражаю я.

– И не могут помочь. Они должны были работать как плацебо. Но если вы или кто-то из вашей семьи недостаточно в них верит...

Я киваю.

– То медицина дальше вам не помощь. Попробуйте успокоить нервы, отдохните, найдите что-то, что принесет в вашу жизнь гармонию или покой.

– Идиот, – говорит Стас и, резко ударив по тормозам, едва избегает столкновения с машиной перед нами.

Я выключаю громкую связь.

– Кто идиот? Врач или тот водитель?

– Да оба! Вся страна! Весь род человеческий!

Через три часа, так и не притронувшиеся к курице-карри, голодные, мы лежим в кровати и курим.

– Может, нам с тобой сделать ребенка? – говорю я и кладу голову Стасу на плечо. Мои пальцы вырисовывают восьмерки на его груди.

В темноте Стас тяжело вздыхает.

– Бедная детка... Извини меня. Я смертельно устал.

Я покорно отползаю на свою подушку. С минуту мы молчим, пережевывая каждый свое разочарование.

– Ну, я не имела в виду прямо немедленно. Я вообще.

– Зачем?

– Ну, может, Зов бы успокоился? У меня появился был смысл...

– Ну не будь ты идиоткой, ладно? Не приносят дети смысла никакого. Суету одну приносят, ответственность... А смысл-то в них какой? Долбаешься с ними, долбаешься, как больной, а они вырастают и показывают тебе средний палец. К тому же ты что, хочешь, что бы я тебя разлюбил?

– Почему разлюбил?

– Да потому. Не задавай идиотских вопросов! У тебя подруги одна другой тупее, что Жанна твоя, что эта корова Ляля. Учат тебя херне всякой. Спи лучше.

Но сон не идет ко мне. Остаток ночи я провожу на кухонном подоконнике. Я смотрю в окно, на дороги, на редко встречающиеся машины, неведомо куда направляющиеся в ночи, на какого-то пьяного или заблудившегося пешехода, бродящего кругами по двору. Наша жизнь вдруг представляется мне в виде длиннущего широченного шоссе: уходящее за горизонт насколько хватает глаза, оно усеяно малюсенькими черными точечками – передвигающимися, нелепыми в своей беспомощности человечками. Им кажется, что у них разные цели, и они хаотично забирают кто левее, кто правее, постоянно подрезая друг друга и меняя полосы. Изредка то тут то там возникают конфликты, люди собираются в кучки, кто-то кого-то мутузит, пытаются столкнуть с дороги. Но с высоты птичьего полета становится очевидным – столкнуть здесь никого нельзя – по обе стороны шоссе обнесено колючей проволокой под высоковольтным напряжением, вдоль которой валяются смердящие, местами обугленные кучи разлагающейся человеческой массы. Это – не сумевшие или не захотевшие пробить себе дорогу вперед по шоссе: выскочки, одиночки, психи, отбросы общества – короче, те, кто не захотел «как все». Но это единицы, статистически они не идут в счет. Много ли в нашей жизни встречается таких, решившихся отойти в сторону? Подавляющая статистическая масса без малейших сомнений продолжает упорное движение вперед.

Куда ведет это шоссе, задумываться человечкам недосуг, они полностью сосредоточены на передвижении. Кто-то раздобыл себе кривую телегу, кто-то ковыляет пешком, кто-то умудрился растолкать соседей и организовать себе сверкающее бамперами эксклюзивное авто. Как и везде, многие вынуждены прибегать к услугам общественного транспорта – трамваев и автобусов. Есть здесь даже неглубокий метрополитен (самые шизы предполагают, что оттуда можно подрыть подземный ход на свободу и, собираясь в мелкие партии с целью снабдить всех примитивными лопатами, регулярно затрудняют движение поездов – слава богу, их вылавливают наряды добровольцев). Но, несмотря на сложнейшие схемы маршрутов, которые лишь немного влияют по шоссе, вся эта котовасия неизбежно движется вперед.

На автобусных подножках висят люди; из автомобилей подороже томно высовываются блондинки с отличными фигурами, торчат чехлы со сложенными шубами и довольно красивые кожаные чемоданы; на обычных телегах сидят кричащие младенцы, дети постарше вписывают в тетради домашние задания, ловкие студенты умудряются пристроить на коленях ноутбуки и даже скайпить с попутчиками. Но есть и те, кто вовсе ни на что не годен, они идут пешком, у некоторых в руках палки – можно опираться, когда устал, да и какое-никакое, но оружие, отбиваться от соседей всегда пригодится. Конфликты и вооруженные стычки – как индивидуальные, так и носящие порой пугающе массовый характер – за последнее время резко участились. На шоссе становится настолько тесно, что нечем дышать. Ходят разговоры об экологии шоссе, о появившихся неизлечимых болезнях неясной этиологии, а к телегам, торгующим удлинняющими продолжительность жизни и потенцию биологическими добавками, становится сложно пробиться. Особенно это заметно в час-пик.

Ко всем прочим бедам движение осложняется одним неприятным обстоятельством: сверху (никто толком не знает откуда) на это шоссе постоянно падают камни (порой – маленькие, россыпью, эти почти безобидны и напоминают картечь или малокалиберные пули; порой – большие, некоторые достигают размеров булыжников), и в мерно движущейся толпе тут и

там возникают завихрения и водовороты: это камень попал в одного из путников. Человек вскрикивает, падает... иногда встает, покалеченный, и умудряется продолжить движение, иногда уже не встает. Тогда люди подбирают его очки, кто-то всхлипывает, но вскоре движение возобновляется. Оставшихся лежать еще какое-то время пытаются обогнуть, но в тесноте это не так просто, и кто-то, наконец, первым на них наступает, кости слабо хрустят, вминаясь в асфальт, потом остатки переезжает телега, и уже через пять-десять минут нельзя и догадаться, что недавно в дорожной грязи лежал человек, коллега. Все затапывается и дорога опять выравнивается. Над ней смердит, но люди давно принохались и не обращают внимания на такие мелочи. Все спешат, все увлечены движением, перестраиванием из полосы в полосу, улучшением транспортных средств.

Но самое забавное во всей этой картине: несмотря на то, что всем здесь кажется, что у них абсолютно разные цели, никакой цели у передвигающихся нет и вообще быть не может. Совпадает у всех только направление движения. Местами покрытое асфальтом, а местами уже разбитое в грязь, это шоссе напоминает взлетную полосу, только с той разницей, что теснота на дороге никому не даст набрать нужной скорости и оторваться от земли, – мы все без исключения направляемся к ожидающей нас в конце пути бездонной пропасти. Радует только одно: мы об этом до поры до времени ничего не знаем. «Меньше знаешь – лучше прешь» – гласит начертанный на растяжках девиз, принадлежащий великому лидеру этой трассы. Говорят, он прославился тем, что, оказавшись на краю бездны, умудрился ее не заметить, и свидетели из первых рядов успели передать слух, что, падая, он еще долго вопрошал окружающих: «Кто-нибудь знает, почем сегодня баррель?»

Как и любой другой участник движения, я тренирую в себе необходимую тут ловкость: уворачиваться от падающих булыжников. Нелепо, но я тоже, как и все, хочу добраться до конца пути. До пропасти. Мне кажется, это все-таки лучше, чем быть просто раздавленной на дороге. К тому же у меня есть надежда: когда пропасть раскрывает перед тобой свою хищную пасть, ты уже настолько задолбан дорогой, что тебе это, в общем-то, безразлично.

## 7

Следующее утро начинается с того, что меня снова рвет.

Все! Так больше невозможно! Держась за живот, я со стоном добираюсь до телефона и звоню Жанне.

– Ты на работе?

– Угу.

– А Светка там же?

– Какая Светка?

– Ну та, что дала вашему генеральному телефон гадалки.

– Исполнительному?

– Ну, исполнительному, какая разница? Там она?

– Ну, там. А что?

Я молчу, подбирая слова. В трубке слышна суета офиса, нервные голоса, разрывающиеся от звонков телефоны.

– Подожди, – вздыхает Жанна.

Гадалка скромно проживает на первом этаже запущенной девятиэтажки. Припарковавшись, я подхожу к подъездной двери и, уже протянув руку к домофону, останавливаюсь в нехорошем предчувствии.

На кой черт я сюда притащилась? Я же не верю ни в каких гадалок, магию и экстрасенсов, и в глубине души уверена, что все эти медиумы и прочие посредники между мирами, даже если часть из них и полагает, что у них есть дар знать то, что человеку в принципе-то знать не положено, на самом деле или психи, или просто раскручивают дураков на бабки. Мне вспоминаются все слышанные мной истории про запугивание и гадалочий шантаж, отобранные бриллиантовые кольца, какие-то яйца и иголки, которые надо закопать в полнолуние... Я оглядываюсь на свою машину, на голые ветки деревьев, перевожу взгляд на садящееся солнце, но здравый смысл в последнюю минуту изменяет мне, и рука нажимает код. Раздается противный гудок, дверь поддается, и я захожу в сырую темноту подъезда, почему-то пропахшую чем-то приторно-сладким.

Прихожая, дверь в которую мне открывает тихая девочка с косичками, обклеена зеленоватыми обоями с жар-птицами. Их золоченые, выцветшие хвосты отсвечивают в косых лучах заходящего солнца. Удалившийся на кухню молчаливый ребенок не предлагает мне ни кофе, ни чая, плотно закрывает за собой дверь, хвосты жар-птиц тухнут, и я оказываюсь в полумраке. Вдоль стены расставлены три потрепанных канцелярских стула. Осторожно потрогав сиденья руками, я присаживаюсь на краешек одного из них и, чтобы отвлечься от желания немедленно закурить, начинаю перебирать в уме все знакомые мне запахи, пытаюсь определить, чем же это так назойливо пахнет, и через минуту устанавливаю, что, разумеется, это не что иное, как индийские ароматические палочки – редкая гадость, к тому же абсолютно не вписывающаяся в формат потрепанной однокомнатной квартиры, забытой богом в двадцати минутах от станции «Пролетарская». Впервые меня посещают сомнения в целесообразности навигационной системы в моей машине. Мне кажется, что адреса, которые я не могу самостоятельно, не прибегая к помощи космических спутников найти после пятнадцатилетнего стажа вождения в родном городе, мне, по всей вероятности, посещать и не стоит.

Чем дольше я жду, тем больше мне хочется уйти. Но именно в ту минуту, что я почти уже на это решаюсь, дверь в комнату приотворяется, и низкий, грудной, вероятно, по задумке – очень магический голос призывает меня войти. Судя по тому, что из комнаты никто не выходил, гадалка все это время находилась там одна, и заставить меня прождать – лишь уловка,

повышение собственного авторитета. Фарс дешевый, отмечаю я, но по тому, как резко я вскочила – ударившись локтем о стену и уронив перчатки на пол – понимаю, что сильно нервничаю.

Шторы на окнах плотно задернуты, и в комнате не видно ни зги. Еще один гадалочий прием?

– Здравствуйте, – говорю я, с досадой отмечая несвойственные мне заискивающие нотки в моем голосе.

– Садись, – велит мне все тот же голос, доносящийся откуда-то снизу.

Вздвигнув, я поворачиваю голову на звук и различаю впереди низкий опиумный столик и сидящий на подушках силуэт, закутанный в что-то наподобие шали или скатерти. Прямо у меня под ногами обнаруживается вторая, пустующая подушка. Как была – в сапогах и пальто – я присаживаюсь на колени, недоумевая, почему клиентам не предлагается хотя бы раздеться. Чиркает спичка, в воздухе повисает запах серы и на столе загорается толстая красная свеча, освещающая тонкую руку, на указательном пальце сверкает камень в серебряной оправе.

– Зачем ты пришла? – спрашивает голос.

Его владелица наклоняется над столом так, что я могу ее теперь рассмотреть. Это молодая еще женщина, не цыганка, с вполне нормальными вразумительными, даже умными глазами, в которых мне не видится никакой примеси безумия.

Я немного расслабляюсь. Поправляю под собой подушку.

– Я хотела... – начинаю я, но не могу подобрать слов.

Что я, собственно говоря, хотела? Я уже не могу толком сообразить. Как исполнительный директор, получить совет уехать в Гималаи, фотографироваться там с горными козлами и стать счастливой? Мысли путаются в голове, и от этого еще невыносимее хочется закурить или хотя бы глотнуть воды. В горле из-за навязчивого запаха ароматических палочек пересохло и саднит. Что мне сказать? Что я почему-то не могу быть счастлива? Что я запуталась и не знаю, как и ради чего жить?

– Я хотела бы узнать свое будущее, – наконец, выдавливаю я.

Женщина вздыхает:

– Имя?

– Чье?

– Ну свое-то я знаю.

– Ах, ну да... извините. Полина. Полина Власова.

Тонкие руки стремительно разбрасывают карты по столу. От меня, по-видимому, больше ничего не требуется, и я затихаю, теребя шарф. С минуту или дольше длится молчание. Наконец, руки сгребают карты в охапку и отбрасывают в сторону.

– Уходи, – говорит гадалка.

– Простите?

Я пытаюсь поймать ее взгляд, но женщина отводит глаза и опускает лицо так, что мне видны только удлинённые свечой тени от ресниц, пушисто лежащие на худые, почти впалые щеки.

– Уходи, – повторяет она.

– Но почему?!

– Просто уходи. Мне нечего тебе сказать.

В шоке, я поднимаюсь и делаю шаг к двери.

– Бред какой-то! Почему вы меня пугаете? Я готова заплатить... – Я роюсь в сумочке и вытаскиваю мятые сотенные купюры. – Вот, ваши пятьсот рублей, как договорились.

Гадалка поднимает на меня абсолютно черные глаза, в каждом из которых дрожит миниатюрное пламя свечи, и, забыв про свой низкий магический голос, неожиданно взвизгивает:

– Вон! Сеанс окончен!

Словно отброшенная ее криком, я отлетаю к двери, и только там, почуяв свободу столь близкого, доступного выхода, перевожу дыхание и оборачиваюсь.

– Зачем вы кричите? Я же ничего плохого вам не сделала. Я просто хотела знать свое будущее.

Но гадалка опять переходит на спокойные интонации.

– Нет у тебя никакого будущего, – заявляет она устало.

Я чувствую одновременно страх, разочарование и негодование. Последнее все-таки берет верх, и я не выдерживаю:

– Что за наглость?! Как вы смеете меня запугивать? Я приведу милицию! Мужа, наконец!

– Мужа у тебя тоже нет.

Холодок пробегает у меня по спине.

– Я живу с женщиной!

– Это не твой мужчина. Уходи. Я устала.

– Но...

– Мне нечего добавить. У тебя нет абсолютно никакого будущего. Я разложила на Полину Власову, а там одна чернота.

Теперь страх выходит на первое место, сильно обгоняя негодование. Он парализует меня, и мне стоит жутких усилий задать следующий вопрос.

– В смысле, чернота?

Женщина молчит.

– Что значит ваша чернота? Как у человека вообще может не быть никакого будущего?!

– Очень просто. Если карты не говорят ничего, это значит, что ничего и не будет. Ты скоро умрешь.

Гадалка закрывает глаза и начинает раскачиваться из стороны в сторону.

Я выскакиваю в коридор и подбегаю к двери. Дергаю ручку, потом до меня доходит повернуть ключ. Подъезд обрушивается на меня отрезвляющей сыростью. Я замираю, прислонившись к стене, судорожно нащупываю в кармане пачку сигарет, даже вынимаю одну и пытаюсь прикурить, но что-то останавливает меня и, бросив не зажженную сигарету на пол, я ловлю носком сапога медленно закрывающуюся дверь и врываюсь обратно в квартиру.

– Хорошо, – заявляю я с порога. – Я поняла. Я скоро умру. Прекрасно! Просто отлично! Это развод такой на бабки, да? Ваша взяла, вы меня испугали! А теперь давайте обсудим сумму, за которую я все-таки не умру?

Но женщина почему-то не спешит начать торг.

– Нет такой суммы, – говорит она, и мне опять мерещится в ней некоторая, пугающая меня еще больше, вменяемость. – Не нужны мне твои пятьсот рублей. Я не шарлатанка. Я и рада бы, но от меня ничего не зависит. Все решает Бог, и он уже решил.

Все эти слова кажутся мне понятными по отдельности, но в цельный смысл все равно никак не складываются. Я не могу поверить в свое невезение. Я лезу в сумку и достаю кошелек.

– Вы не поняли. Я не про пятьсот рублей, я предлагаю заплатить больше. У меня есть кредитки, я могу сбегать в банкомат...

– Нет.

– Кольцо... – цепляясь за жизнь, я стаскиваю с пальца бриллиант. – Вот. Оно стоит пять тысяч! Просто заберите свои слова обратно!

Я кидаю кольцо на опиумный столик. Оно скатывается на пол и исчезает в темноте. Но женщина только натягивает шаль на голову и молчит, слегка покачиваясь, похожая на мумию, на каменное изваяние, на индийскую богиню, даже не повернув головы в его сторону.

– Теперь вы заберете свои слова обратно?!

Я обхожу чертов столик, спотыкаясь и цепляясь краем пальто за стол, хватаю женщину и пытаюсь остановить ее мерное покачивание, которое сводит меня с ума.

– Да? Заберете?! Дьявол! Что за бред?! Что вам еще надо?!

Внезапно гадалка вздрагивает и срывается на тот самый, жуткий, визгливый крик:

– Вон отсюда! Во-он! Во-о-он!..

Объятая ужасом, я затыкаю уши и, больно ударяясь об угол, выскакиваю из комнаты. Как бы со стороны я слышу, что тоже начинаю что-то кричать, кажется, даже угрожаю... Плохо соображая, что со мной происходит, (как? как эта сумасшедшая умудрилась вытянуть из меня кольцо, даже не сказав мне ничего хорошего?!), я все-таки оказываюсь в подъезде. На этот раз я пролетаю его, не задерживаясь. Улица обдает меня начавшимся снегопадом, но я ничего толком не замечаю. Стуча зубами, я забираюсь в машину. Солнце зашло за дома, и двор накрыт мрачной тенью, предвестником стремительно приближающейся темноты. Я щелкаю зажигалкой, продолжая сотрясаться от мелкой дрожи, и только с десятого раза мне все-таки удается прикурить.

Дьявол! Идиотка! Зачем я сюда пришла? Что я хотела услышать? Какие, нафиг, Гималаи? Но почему, почему эта сволочь, эта шарлатанка так хорошо поговорила с Жанниным директором, и так ужасно повела себя со мной? И что мне теперь делать? Ну за кольцом, допустим, я вернусь со Стасом, отдаст как миленькая! Но как мне теперь забыть то, что она сказала?!

В окошке мелькает чья-то тень, и я подпрыгиваю на сиденье от внезапного стука. Слева от меня стоит уже знакомая мне девочка с косичками: рука протянута как у нищенки. Еще денег?! – зверею я, но тут же замечаю, что ребенок пришел не просить. В маленькой ладошке что-то блестит и, присмотревшись, я понимаю, что это мое кольцо. Я опускаю стекло, и молчунья бросает мне его прямо в машину. Не дает в руку, а именно бросает и пятится от меня прочь, как от чумы. Ее щуплое худенькое тельце дрожит на холоде, на ней нет ничего кроме байкового халатика и тапочек. Не успеваю я что-либо сказать, как она озаряет меня неумелым крестным знаменiem, а затем стремительно разворачивается и скрывается в подъезде.

В полном шоке я смотрю на валяющееся у меня на коленях кольцо. Выходит, что гадалка не взяла с меня ни копейки, вернула бриллиант... Я наотрез отказываюсь понимать происходящее.

Уже второй час я пытаюсь вырваться с проклятой «Пролетарской», но движение в городе полностью парализовано. Чертовы приезжие! Чертов город! Чертова жизнь! Я матерю весь белый свет, беспрестанно сигналю, но моя машина не может продвинуться ни на метр. Классика жанра: грузовик въехал на перекресток на мосту, не рассчитав, что из-за затора впереди ему некуда с него деться. Светофор переключается, и машины слева и справа тоже заезжают на перекресток. Проехать, разумеется, не могут, из-за застрявшего поперек грузовика. Светофор переключается еще пару раз, завершая этот шедевр тупости, и вот перекресток под завязку запружен машинами. Теперь уже ни одна из них не может сдвинуться с места: выстроившись в шахматном порядке, они полностью перекрыли друг друга. Без регулировщика этот гудящий монумент человеческой жадности и идиотизма будет стоять здесь до конца света. А его – волшебного регулировщика, обладателя не менее волшебной чудо-палочки – (опять классика жанра) здесь нет и не будет! Никогда!

Я набираю Жаннин номер:

– Алле! – кричу я в трубку. – Ты где?

– Где, где... – говорит Жанна гробовым голосом. – Где надо!

– Ты мне срочно нужна! – Я даже не пытаюсь держать лицо, я ору изо всех сил, я умоляю. – Пожалуйста! Я сейчас приеду! Я брошу машину и приеду на метро, в любое место, куда ты скажешь! Мне срочно, срочно надо поговорить!

– Я не могу, – говорит Жанна, и мне внезапно кажется, что она плачет. – Я занята...

– Что случилось?

– Ничего. Все нормально. Все обалденно. Просто Рафик меня бросил...

В трубке слышен неразборчивый мужской голос. Жанна начинает плакать сильнее.

– Господи, Жанна! Ты с кем?

– С Ра... фи... ком, – рыдает она.

Все тот же мужской голос что-то требует, кричит, Жанна тоже начинает кричать... Мне не остается ничего, кроме как повесить трубку. На этом празднике жизни я им совершенно сейчас не нужна. Это предельно очевидно.

Через полчаса мое состояние уже напоминает буйное помешательство. Мы все еще стоим ровно на том же мосту. Регулировщика нет. От постоянных звонков всем подряд у меня садится батарея в телефоне, и я с ненавистью швыряю его в окно. В полной прострации, как в летаргическом сне, плохо соображая, что делаю, я выхожу из машины.

– Девушка! – орет мужской голос откуда-то сзади. – Вы куда?! Немедленно вернитесь! Мы сейчас поедem, и что? Вы перегораживаете весь ряд!

– Мы никуда не поедem, – бормочу я, не оборачиваясь. – Ни-ку-да... не поедem...

Мужчина меня не слышит, но мне совершенно безразличны его крики. Даже не прикрыв за собой дверки, я отмечаю взглядом мой валяющийся мобильник, но не поднимаю его, а просто перешагиваю и иду куда глядят глаза. Огибаю сигналящие вокруг машины и облокачиваюсь на каменный парапет моста над автострадой. Под мостом мертво стоит такой же поток машин. Фары разрезают ночной мрак, в освещенных ими фрагментах воздуха истерически роятся мелкие снежинки, под колесами черная слякоть, люди нервничают, – сколько хватает глаза развязка, включающая в себя четыре подъездные дороги и эстакаду, полностью парализована.

Все стоит. Ничего не происходит. Никто никуда не движется. На секунду на меня снисходит благодатное озарение. Это ничего, что я скоро умру! Это вполне в духе времени. Это абсолютно нормально. Гадалка – честная и неподкупная женщина. Мы все давно уже умерли, и, если определять жизнь через движение, то, глядя на одуревшую, на все лады гудящую в клаксоны предновогоднюю Москву, это становится очевидным.

На миг время останавливается, и я погружаюсь в тишину и покой. Как в замедленном режиме просмотра я вижу все происходящее, но звук отключен. Мне совсем не холодно, я перестала ощущать зимний воздух на своих щеках, я не чувствую, как ветер играет моими растрепанными волосами, я не отдаю себе отчета в том, что посиневшие пальцы впиваются в каменный парапет. Все это я замечу чуть позже, а пока мне тепло, тихо и очень хорошо. Я почти счастлива.

Но «почти» не считается. Резкий порыв ветра швыряет мне в лицо горстку снежинок, и я будто просыпаюсь. Во мне поднимается холодная, восхитительная ярость. Застонав, я кидаюсь обратно к машине. В моей голове пульсирует всего одна мысль, но зато какая! Что бы там ни говорила эта чертова гадалка, – но я пока жива! И должна двигаться!

Все дело в грузовике! Если убрать его с моста, все сразу смогут проехать. Я забегаю вперед и мгновенно оцениваю ситуацию. Если несколько машин сдадут слегка назад, то еще парочка машин смогут продвинуться вперед, тем самым освобождая место, чтобы и грузовик, в свою очередь, сместился к краю.

– Еб... ..! Ты! Назад сдавай! Назад, говорю!

Как со стороны, я наблюдаю себя, размахивающей руками и тычущей пальцами в водителей. Мне стыдно за то, что я знаю такие слова, мне обидно, что, живя в этой стране, их невозможно не узнать.

Вокруг меня в освещенном фарами пространстве кружатся снежинки. У меня от них кружится голова. Москва кружится вокруг нас со снежинками, и я уже не разбираю, то ли в результате моих действий на перекрестке и правда начинается какое-то движение, то ли я просто схожу тут с ума. Машины следуют моим указаниям и, окрыленный успехом, вскоре мне



на помощь приходит рослый детина из шикарного «вольво», почему-то в валенках, надетых прямо на костюмные брюки, и вот мы уже вместе машем руками, разбирая машины на «ты – назад», «ты – вперед», «а ты – замри, debil, куда прешь?»

Буквально через каких-то три несчастных часа я уже ловко паркуюсь на мусорной куче перед собственным подъездом. «Здесь жил Гога», как обычно приветствует меня кривая надпись на моем этаже. Я прищуриваюсь, останавливаюсь и, не задумываясь, царапаю ключом на стене: «Здесь жила Полина». Жила...

Ключ долго не может попасть в отверстие замка, я покрываюсь потом, сбрасываю мешающий мне шарф на пол, остервенело тычу в скважину... пока дверь не открывается сама. При этом я чуть не падаю от неожиданности. На пороге стоит Стас: рубашка расстегнута до середины блестящей лысой груди, обычно прилизанные волосы взъерошены, отчего сам Стас напоминает внезапно разбуженного воробья. Из-под полосатых костюмных брюк торчат синие и почему-то босые ноги.

– Ты спишь? – спрашиваю я, запихивая слегка заторможенного Стаса обратно в квартиру. – Дай же пройти, ты, о Господи! Я три часа до дома добиралась! Мне срочно, срочно надо выпить!

– Выпить? Oh yeah, крошка, это ты по адресу!

Я замечаю, что от Стаса сильно несет алкоголем.

– Ты что, пьян?

– Пьян? Ой, какое слово страшное! Пьян... Ну хорошо, я немного пьян...

Стас коротко хохочет, но резко останавливается и тревожно озирается. Таким он гораздо больше смахивает на психа, чем на пропойцу. Я отталкиваю его и захожу на кухню, ожидая увидеть Артема. Но Артема нет, вообще никого нет, только что есть мочи надывается из колонок радио. Судя по всему, Стас пьет один, и не виски, а все-таки вино. Значит, все не так плохо. Хотя обычно Стас почти не пьет, бережет шаткое здоровье.

– Что у тебя случилось? – спрашиваю я, наполняя Стасов недопитый бокал и немедленно осушая его до дна.

Блуждающие серые глаза останавливают на мне безумный взгляд, с минуту меня изучают и отводятся в сторону батареи отопления, где окончательно застывают.

– Да что же, Господи, случилось?! – я быстро срываюсь на крик.

– Ничего, детка... совсем ничего... Небольшие неп... приятности на работе. Бб... бывает.

Когда Стас волнуется, он слегка заикается. Это бывает с ним крайне редко, и я понимаю, что произошло что-то гораздо более серьезное, чем я подумала вначале.

– Насколько небольшие?

– Я сказал: небб... большие... Отвянь, дарлинг, детка... ум... ум..., вот дьявол! умоляю!

Я кидаю сумку на угловой кухонный диванчик и плюхаюсь за ней следом. Закрываю лицо руками и на какое-то время полностью погружаюсь в окутывающий меня кошмар.

– Мне гадалка сегодня сказала, что я скоро умру, – наконец, разлепляю я руки и поднимаю глаза на неподвижного, замершего в прострации Стаса.

– Да? – без особых эмоций интересуется он. – И сколько ты ей за это заплатила?

– Да в том-то и дело! Это самое страшное во всей этой истории! Нисколько! Она не взяла деньги!

– Странная гадалка, – тянет Стас и опять сосредотачивается на батарее.

– У нас что-то не так с отоплением? – заводюсь я.

– А? Почему?

– Ну ты с батареи взгляда неводишь.

– Разве?... А, кстати, куда пропала наша орхидея из ванной?

– Вспомнил! Я ее еще три дня назад вынесла в соседский цветник у лифта. Ей у нас было слишком одиноко. В моей галерее хотелось повеситься, а в этой квартире можно подохнуть так, просто от одного ее вида, без мыла и веревки!

Я роняю голову на сложенные на столе руки. Стас с шумом отодвигает стул и садится рядом. Почти одновременно мы вздыхаем. Разговор слепого с глухим.

– Детка, что ты от меня хочешь?

Во мне поднимается волна раздражения.

– Что я от тебя хочу?! Да так, ничего особенного. Я тебе только что сообщила, что скоро умру. А ты даже ничего не спрашиваешь!

Стас смотрит на меня, как на редкое пресмыкающееся, почти утраченный подвид, чудом уцелевший на его кухне.

– А что спрашивать? Я все уже понял. Ты ходила к гадалке, и она сказала, что ты умрешь.

– А тебя не интересует, почему я вообще ходила к гадалке?

Стас отрицательно крутит головой:

– Да нет. После всего, что с тобой происходило последнее время, поход к гадалке не вызывает у меня ни мм... малейших дополнительных вопросов.

Достаточно! Хлопнув дверью, я закрываюсь в ванной. Из плетеной корзины торчит очередная рубашка. С ненавистью я засовываю ее поглубже и несколько раз хлопаю крышкой. На это уходят почти все мои силы, и я присаживаюсь на краешек ванны. В полном изнеможении я набираю Жанну.

– Ты где? – спрашиваю я.

– Где? Да там же... Дома.

– Что Рафик?

– Ушел.

– Совсем ушел?

– Не совсем. Но лучше бы совсем...

Деревянный, изъеденный жучком, и от этого какой-то домашний, лишенный излишней величественности, так мешающей мне воспринимать святые лики на православных иконах, Будда смотрит на меня со стены напротив. Его глаза спокойны и идеально пусты. На свете, на этом, вашем, обыденном свете, состоящем исключительно из нелепой суеты, нет ничего, из-за чего стоило бы по-настоящему расстраиваться, подсказывает он мне со всей возможной доброжелательностью.

– Что он сделал-то? – спрашиваю я Жанну.

– Сделал? Ничего. Ровным счетом абсолютно ничего... В этом-то и проблема.

В трубке что-то щелкает, слышатся звуки звонко падающих предметов.

– Ты там бьешь посуду что ли? – интересуюсь я будничным тоном, как будто бить посуду – норма жизни. Хотя что в наше время можно назвать «нормой» мне уже давно не понятно.

– Я скалываю плитку в ванной, – отвечает Жанна.

Ее голос почти тонет в очередном звонком ударе.

– Сама? Чем скалываешь?

– Чем? Шпателем! Чем еще можно скалывать плитку? Хотя... я не знаю чем еще можно. Может, чем-то и можно, но у меня есть только шпатель.

Какое-то время мы молчим, и я наслаждаюсь звуком падающей и разбивающейся плитки.

– А зачем скалываешь?

Жанна гомерически хохочет:

– Ремонт делаю!

– Понятно. Тебя уволили и ты осваиваешь новую дефицитную профессию? – иронизирую я.

– Ну можно и так сказать. Рафик меня уволил. Переезд в новую квартиру отменяется, и я навеки вечные остаюсь в своей однушке.

Мой взгляд устремляется на Будду.

– Ну если тебя это хоть как-то утешит, то бывает и хуже, – философски замечаю я. – Ты хоть в однушке, но будешь жить. А мне сегодня гадалка сказала, что я скоро умру.

Звуки падающих плиток прекращаются.

– Что за бред?! – восклицает Жанна.

Мне на миг становится легче. Хоть кто-то готов обсудить произошедшее, убедить меня в том, что верить гадалкам нельзя, что я излишне впечатлительна, наивна, в конце концов. Но запыхавшийся от непривычной физической нагрузки голос Жанны резко констатирует:

– У тебя съехала крыша! Какая гадалка?! Чем ты вообще там занимаешься?! Ты понимаешь, что мне скоро тридцать пять, а я все так и сижу в арендованной однокомнатной клетке?.. Что я видеть не могу ни эту грошовую белую плитку в ванной, ни икеешную кухню с отломанными дверками!.. Что у меня нет ни мужа, ни карьеры, ничего вообще! Рафик потерял треть! Треть всех своих денег! А ты... ты сидишь там... в нормальной квартире, с джакузи... – Жаннин голос срывается на визг. – ... и все твои проблемы – это люксопроблемы!..

Отложив телефон на край ванны, я делаю большой глоток вина прямо из горлышка предусмотрительно захваченной с собой бутылки. Потом подбираю трубку, подношу ее чуть ближе к уху и прислушиваюсь. Жаннин возмущенный голос продолжает что-то взвизгивать. Я опять кладу трубку на ванну, и делаю еще один глоток. Потом еще один. Выбором и закупкой вин у нас занимается Стас. Его параноидальная игра в европеизированность положительно имеет и свои хорошие стороны: по крайней мере, участвовавшие за месяцы кризиса истерики мы запишем отличными коллекционными винами.

Прихватив бутылку, я с легким поклоном демонстрирую ее Будде и выхожу из ванной, так и оставив бубнящий телефон лежать на краю джакузи. Я недоумеваю: джакузи – это признак, что все мои проблемы – люксопроблемы? Предполагается, что это чертово корыто с отделанными хромом дырками, откуда при желании можно добиться идущей под небольшим напором воды, должно сделать меня счастливой? Так же, как и сидящий с остекленевшим взглядом Стас? Так же, как и наличие оформленной на Стаса трехкомнатной квартиры, в которой, в случае, если нам удастся когда-нибудь доделать ремонт, даже будет пресловутый walk-in closet?

Алертность, приглушенная алкоголем, притупляется, и я попадаю ногой на рулон валяющихся в прихожей обоев. Рулон катится, нога уезжает за ним вперед, вторая нога подгибается, и я, нелепо взмахнув руками, с грохотом падаю на пыльный, еще полгода назад подготовленный к укладке паркета, пол. У меня из глаз немедленно брызжут давно ждущие повода слезы. Я сижу на полу (что примечательно: высоко подняв руку с неразбившейся бутылкой, из которой, несмотря на бешеное сальто, которое я только что проделала, не пролилось ни капли), и реву в голос. Но самое трогательное, это то, что Стас, сторбленная спина которого видна мне с места моего падения, даже не повернул головы.

– Мы все умерли, ты понимаешь? – реву я из прихожей, даже не пытаюсь подняться. – Ты понимаешь? Ты умер. Я умерла. Все, все давно умерли! Мы ходячие, завтракающие, умывающиеся, нюхающие кокс и бухающие трупы! Полный город трудоспособных трупов! Это не город, это... это кладбище, паноптикум какой-то, музей Мадам Тюссо! А мы бьемся за качество склепов!

Так и не повернувший головы труп Стаса тянется к пульту и до максимума увеличивает звук и без того разрывающегося радио. Посуда на кухонных полках начинает дрожать в такт суrowой чеканке Бутусова:

*Ско-ван-ные од-ной це-пью,  
Свя-зан-ные о-дной це-лью...*

– О чем ты все время думаешь? – Я вою громче, пытаюсь перекрыть динамики. – О бизнесе?

*Здесь можно играть про себя на трубе,  
Но, как не играй, все играешь отбой,  
И если есть те, кто приходит к тебе,  
Найдутся и те кто, придет за тобой...*

Посуда продолжает звенеть на полках, по батарее раскатывается жуткий гул от стука соседей, и я зажимаю уши, но все равно продолжаю кричать:

– Господи, убери ты эту музыку! Остановись на секунду! Оглянись по сторонам! Посмотри на себя, что ты чувствуешь? А Жанна? Всю жизнь... всю жизнь она носится за этим Рафиком, и ведь в этом даже нет никакого смысла! Он не женится на ней никогда, – я делаю глоток из бутылки, – он сам несчастный! Мне его тоже жалко! Он развестись не может, потому что не полный гад! У него дети... – Еще глоток вина. – У Ляли тоже дети! Она как цирковая белка, ничего не видит и не понимает, у нее ни на что времени нет. Она с ними настолько безвыходно уже застряла, их же не бросить, не сдать на хранение, это же двадцать... тридцать лет круглыми сутками напролет надо с ними... а она всего-то хотела себе хорошую семью! А что выходит? Где ее Артем? По блядям? Перетрахал весь город, до того не хочет ни Лялю, ни семью свою видеть? И что? И тоже не может развестись! Потому что де-е-ети...

Из пустой бутылки уже не выдавить ни капли. Я отбрасываю ее и за какофонией орущих колонок даже не слышу звука ее падения.

– Что мы тут все ищем? Чего добиваемся? Мы же мертвяки! Живем в вакууме! В центре циклона. Вокруг все вертится, а мы застыли каждый со своей ни-ка-кой целью! И что, скажи мне на милость, что мы будем делать, если у нас не дай бог получится то, к чему мы так стремимся?! Ну что?.. Ну, допустим, у всех все вышло... Ты стал миллионером, Артем покрыл всю Москву, Ляля родила четвертого и отупела настолько, что перестала понимать, что ее Артем вечерами задерживается не на работе! Жанна... Жанна переехала к Рафику на Рублевку, от него ушла жена и забрала всех детей... Сама ушла, добровольно! Не знаю, у татар такое бывает? Но окей, пусть бывает... Все бывает! И свободный Рафик поселился с Жанной, чтобы заделать ей четверых и завести себе другую Жанну!.. И что-о-о??? Что мы будем делать, когда наши цели осуществляются??? Шагнем в окошко?! Как это сделал Петровский?..

Стас поднимает голову со сложенных на столе рук, поворачивается ко мне и неожиданно громко орет:

– Заткнись, идиотка! Не тт... трогай Петровского! Это был нн... ннесчч... несчастный случай! Поняла ты? Несчастный случай!

В дверь уже отчаянно барабанят ногами и постоянно жмут на дверной звонок соседи. Мне безразлично все.

– Ах, это был несчастный случай?! – ору я. – Да?! Просто так, умный, классный человек закрылся один в квартире, выпил от счастья, от ощущения полноты и осмысленности своей удавшейся жизни и решил вот так вот постоять по приколу на подоконнике?! Милиция сказала, там были следы от ботинок! Он не присел-перегнулся-выпал, он ВСТАЛ на него! Ногами встал! И шагнул!!! Козел ты.

– ЗАТКНИСЬ!!!

– Сам заткнись! Я не хочу так!

Соседи продолжают ломиться в дверь. Мне кажется, звонок сейчас не выдержит и сломается. Прижимая к себе ушибленный локоть, я тяжело поднимаюсь. В голове заметно кружится. Держась за стену, я добираюсь до кухни, до пульта управления... и вырубая музыку. Повис-

шая тишина кажется мне еще страшнее, чем оглушительные раскаты «Наутилуса». Если бы не истерично захлебывающийся трелью звонок, можно было бы подумать, что я внезапно оглохла.

Вздохмаченная, перепачканная, я предстаю перед возмущенными соседями. Их двое: жирная, пытающаяся прожечь меня ненавистью блондинка (короткий приторно-розовый халат, целлюлитные ляжки), и ее, по всей вероятности, оторванный от телевизора и поэтому страшно раздраженный муж, сжимающий в руке молоток. При взгляде на молоток, я в первую минуту пугаюсь, но успокаиваю себя догадкой, что, скорее всего инструмент остался в его руке по инерции, он им стучал в стену или по батарее.

Сложив руки в молитвенном жесте, я киваю как китайский болванчик, соглашаясь со всем:

– Да-да. Да, никогда больше не повторится. Нет, ни в жизни. Да, сошли с ума. Да, психи ненормальные. Нет, милицию не надо. Мы понимаем. И это понимаем. И очень сожалеем. И еще раз извиняемся...

Наконец, победившие и почти удовлетворенные, соседи уходят. Резко обессилев, я возвращаюсь на кухню и опускаюсь на стул.

– Какая тупость! Мы как зашоренные хромые кобылы! Почему никого, скажи мне, никого не волнует этот вопрос, кроме меня? На-фи-га мы живем??? Почему я одна с ним хожу, а все только издеваются?! Почему это считается «люкспроблемами»??? У нас у всех дофига всего есть: деньги, работы, карьеры, дети, наконец. У нас детей только у Лялечки и Рафика на всех нас хватит. Рожаем, значит не боимся с голоду подохнуть. Молодые, здоровые, красивые... Чего нам мало? Ну почему нам о чем-нибудь нормальном уже не задуматься? У нас же проблемы: одним замуж, другим развестись... И всем не хватает бабла постоянно. И все!!! В трех соснах запутались! Куча высших образований, а толка ноль! До трех считаем ежедневно, с утра, одуревшие, и все время только до трех!

Стас нервно прилизывает волосы. Даже сейчас он это делает своим манерным жестом с широко растопыренными пальцами.

– Детка, заткнись! Понимаешь, просто уйди отсюда! Без тебя тт... тошно! Уедь куда-нибудь! Все скоро решится.

– Что решится?

– Все решится. Я работаю над этим.

– Над чем??? Ты вообще меня понимаешь? О чем я говорю?!

Босой ногой Стас с чувством пинает пустую бутылку. Во внезапной гробовой тишине отчетливо слышно, как она стеклянно громыхает по каменным плиткам: медленно перемещается к окну, тычется в стену, слегка откатывается назад и затихает.

## 8

На следующее утро я с трудом отрываю пульсирующую, словно наполненную чугуном голову от подушки и со стоном немедленно водворяю ее обратно. Спальня уже залита холодным зимним светом. На часах полдень. Я поеживаюсь от холода, и только теперь замечаю развевающуюся от сквозняка занавеску. Перед тем, как уйти, Стас решил проветрить квартиру? Холод заставляет меня встать. Морщась от жутчайшей головной боли, придерживаясь за стены, я накидываю халат, добираюсь до окна и с остервенением захлопываю форточку.

Зов в солнечном сплетении совершенно распоясался. Это уже не дыра, и не туннель, это чертова взлетная полоса для реактивных самолетов! Это сводит меня с ума! Господи, что же это за болезнь такая? Почему от нее не существует нормальных таблеток? Что это за рецепт такой садистский: лечитесь, мол, гармонией и покоем?!

В полном отчаянье я добираюсь до кухни. Запиваю не помогающие пилюли.

На столе, придавленный чашкой с недопитым кофе, меня ждет наспех вырванный из еженедельника листок:

*«Детка! Я тут на трезвяк покумекал – тебе надо уехать из Москвы. В Тай. И как можно быстрее. Как доделаю дела – присоединюсь к тебе. Нам ВСЕМ нужен покой».*

## Часть 2

### Тайланд

*Важно не то, что сделали из меня, а то, что я сам сделал из того,  
что сделали из меня.*

**Ж.-П. Сартр**

## 9

На полуденном солнце море переливается до боли слепящими глаза стальными бликами. Лежа на спине, я загребая ладонью горячую пыль мельчайшего, почти неестественного в своей белоснежности песка и медленно пропускаю его сквозь слегка разжатые пальцы. Получаются песочные часы – полная ладонь занимает около минуты, я как раз успеваю досчитать до шестидесяти. Если сомкнуть пальцы чуть плотнее, то счет увеличивается до девяноста или даже до ста двадцати, таким образом даря мне лишнюю минуту. Целую минуту (да еще какую!) жизни. Опять зачерпнув песка, на этот раз я сжимаю кулак еще крепче, и вот искрящиеся золотом крупинки уже не могут найти дорогу. Песочные мои часы останавливаются. Время настолько условно на этом острове, что с ним можно играть во всевозможные игры, растягивая его или убыстряя по своему желанию.

Если верить календарю в моем мобильном телефоне, то еще нет и месяца с тех пор, как я стала островитянкой, но порой мне кажется, что прошла уже целая вечность. Я закрываю глаза и прислушиваюсь к своим ощущениям от тончайшего ручейка, выскальзывающего между пальцами и прочерчивающего дорожку на моем животе. Мягко, слегка щекотно песчинки ложатся на загорелую кожу, подбираясь к тому месту, где еще недавно располагалась моя «черная дыра». Она почти меня больше не беспокоит, вероятно, врач был прав, и все дело оказалось в покое, накатившем на меня как только я села в самолет.

Почти не выходя из истерического состояния, в которое меня поверг разговор с гадалкой, заручившись неожиданной поддержкой Стаса, я за какие-то четыре дня оформила срочную тайскую визу, купила первые попавшиеся билеты, и, ни с кем толком не попрощавшись, на скорую руку покидав в чемодан несусветный хаотичный набор из чего-то льняного и белого, и даже не позаботившись о креме от загара и прочих милых сердцу мелочах, покупка которых обычно доставляет массу удовольствия в предвкушении отдыха, вызвала такси и рванула в аэропорт.

Оголенные провода моих нервов искрились от напряжения. Город вокруг заполнился монстрами и демонами, объединившими усилия с одной единственной целью: ни за что меня отсюда не выпустить. Машины выстраивались в длинные, дышащие выхлопными газами колонны и, с издевкой рыча моторами прямо перед носом моего такси, ползли на минимальной скорости. На Ленинградке же, уже у самого подъезда к МКАДу, они и вовсе встали. Таксист понуро давил на гудок, почти не продвигаясь вперед, в то время как до вылета самолета оставались жалкие полтора часа. Самообладание покинуло меня. Мне показалось, что теперь я уже точно и непременно опоздаю, что столичные демоны не разожмут своих объятий, что мое постыдное дезертирство обречено на провал, а пригрезившийся мне Тайланд, вероятно, просто кармически мной незаслужен.

Открыв окошко для лучшей связи с Богом, я высунула нос на зимний холод и, всматриваясь в безлунный и беззвездный мрак, отчаянно взмолилась: «ГОСПОДИ! МИЛЕНЬКИЙ! НЕ БРОСАЙ МЕНЯ ТУТ! ПОЖАЛУЙСТА, ВЫПУСТИ МЕНЯ ОТСЮДА!!!» И то ли моя

мольба достигла цели, то ли просто бывают в жизни и счастливые совпадения тоже, но после МКАДа все вдруг поехало. Я попеременно крестилась, шептала благодарности и на всякий случай не сводила пристального взгляда с черных небес.

Мои часы показывали 19:40, когда вдали загорелись красные буквы «Шереметьево – 2». От улетающего самолета меня отделяли час времени и около двух десятков машин, намертво застрявших перед парковочным шлагбаумом на въезде. Я кинула последний, безнадежный взгляд наверх и поняла, что на Бога надейся, а сам все-таки не плошай. Расплатившись, рывком вытащила упирающийся чемодан с заднего сиденья и припустила трусцой. Все было против меня: дорога, разумеется, шла в горку, а чемодан тут же зарылся в дорожную грязь, но, судорожно вцепившись в него обеими руками, я отчаянно пробиралась к цели, краем глаза отметив, что еще из нескольких машин повыскакивали люди и последовали моему примеру.

Гонки на выживание продолжались, время стремительно убегало в Тайланд, не желая брать меня с собой. Из глаз полились слезы, но не было ни рук, ни времени их утирать. Борьба уже не молитвы, а проклятия, растрепанная, раскрасневшаяся и взмокающая от пробежки, я ворвалась в зал вылета, когда до конца регистрации оставались считанные минуты. Главное – успеть сдать багаж, тогда (слава террористам!) без меня уже никто никуда не улетит! Аэропорт закрутился у меня перед глазами. «Подождите меня, я тоже на Бангкок!» – не выдержала и закричала я, беспомощно озираясь на равнодушные стойки регистрации.

И только избавившись, наконец, от чемодана, пройдя под стальным взглядом некрасивой и явно завидующей всем отъезжающим пограничницы, выдержав унижительную процедуру досмотра (босиком, в промокших от пота носках, в синих пластиковых мешочках на ногах, с каким-то баннным корытом в руках, в котором перекачивались сапоги, ремень и мобильник), я добежала до своего рейса и смогла впервые за последние четыре с лишним часа спокойно выпустить вздох облегчения.

Забравшись на свое место у окна, я прижалась лбом к иллюминатору. Самолет вырвался по взлетной полосе и ловко взлетел в небо. Под крылом красиво мелькнули огни мегаполиса. Некстати подумалось, как же я все-таки люблю этот город! Но почему непременно жизнь в нем надо устроить таким образом, чтобы вспоминалось об этом только с борта уносящего тебя прочь авиалайнера?!

Вскоре значок «Пристегните ремни» погас, зажегся верхний свет, и салон за бурлил своей жизнью. Люди попытались обжиться на новом месте, кто-то обложил себя пледами, кто-то зашуршал газетой, некоторые включили портативные dvd-проигрыватели или ноутбуки. Вскоре разнесли напитки, и я выпросила себе целых три стаканчика с водой.

После ужина, я, как обычно, попыталась представить, что самолет начинает падать, и с удивлением поймала себя на том, что впервые это не приносит мне ожидаемого облегчения. Известно, что клин лучше всего вышибается клином, и ничто так не помогает от суицидальных и депрессивных настроений, как прямая угроза жизни. Жить, после визита к гадалке, хотелось как никогда!

Я открываю глаза и шурю на безоблачное небо, просвечивающее сквозь пальмовые листья. Пальмы вдоль пляжа тут невысокие, кряжистые, непонятно как растущие под углом почти в сорок пять градусов. Кажется, я не заметила, как заснула. Солнце слегка сместилось на запад, и теперь я лежу в глубокой тени. День тихонечко приближается к полднику.

– Мадам хотеть кокосовый сок? – слышу я услужливый вопрос на ломанном, невероятно исковерканном английском.

Это Тхан, худенький мальчишка, работающий официантом в прибрежном ресторанчике, принадлежащем отелю, на пляже которого я загораю. Надо мной наклоняется узкое лицо, приветливо блестят два черных, чуть раскосых глаза, изящная, как у принца, тонкая рука поправляет длинную челку из отливающих синевой волос. Тхану на вид не более четырнадцати лет,



хотя в точности определить возраст тайцев мне никогда не удастся. На нем белый накрахмаленный передник, за девственной чистотой которого без устали следит сам Лучано – сицилиец, владеющий этим крошечным отельчиком. Лучано считает, что хороший бизнес состоит из мелочей. Рестораны здесь на пляже у всех одинаковые, учитывая неразнообразие островных продуктов, отличаться необычным меню не удастся, и хозяйственный итальянец делает упор на столь нравящиеся европейцам и недоступные тайскому пониманию детали: сверкающие белизной фартуки, орхидеи на мраморном столике при входе, и колониальные, в резной тиковой раме зеркала. Цены в ресторане соответствующие, но по сравнению с московскими лишь вызывают улыбку.

– Да, пожалуй, принеси мне кокос, – киваю я подростку.

Он убегает выполнять задание. Из-под коротких полотняных шароваров мелькают голые худые пятки. Тхан знает, что я всегда оставляю ему чаевые, поэтому если, сморенная полуденной жарой, я засыпаю под пальмой и долго не делаю заказ, он прогуливается где-то неподалеку и, как только заметит первые признаки моего пробуждения, немедленно оказывается рядом и сам предлагает напиток. Это либо свежавыжатый арбузный сок, либо очищенный кокос из холодильника, с маняще торчащей из надпиленной верхушки трубочкой. К кокосу на отдельной белой тарелке всегда подается китайская ложка – холодная мякоть ореха утоляет жажду даже лучше самого сока. Алкоголь я пока ни разу не заказывала. Он ассоциируется у меня с Москвой, забыть о которой я пытаюсь уже месяц.

Говорят, остров кишит наркотиками. По словам встреченных мной туристов здесь можно купить абсолютно все, от любой кислоты до какого-то местного растительного дурмана с совершенно непроизносимым названием. Но наркотиков я не хочу тем более. Сам остров, с его постоянным солнцем, ветром, шелестом пальмовой листвы и стрекотом невидимых цикад действует на меня галлюциногенно. Я все время по-идиотски улыбаюсь. Людям, морю, лениво бродящим по пляжу собакам, самой жизни... Жанна бы сказала, что я тут заметно поглупела, но, на мой взгляд, все обстоит ровно наоборот.

Несмотря на постоянные улыбки, в глубине души я до сих пор чувствую себя больным, еле спасшимся бегством зверем. Я старательно избегаю общения с себе подобными. Как выяснилось, можно иметь легкие и очень поверхностные отношения, обсуждать погоду, знать людей по именам, но дальше этого не идти. Ужинаю я обычно дома, а даже если и у Лучано (больше нигде я пока не ходила), то всегда сижу одна за самым дальним столиком спиной ко всем, лицом к морю, лижущему песок в нескольких метрах от деревянных настилов ресторана. Понятливый итальянец всегда держит на моем столике табличку «reserved».

Кстати сказать, избегать общения на нашем пляже совсем несложно. С местным населением не сдружишься хотя бы из-за языкового барьера: тайский английский это игнорирующая всякую грамматику смесь сотни английских слов и невероятнейшего акцента. Туристы сюда почти не доезжают, а если и попадают, то проводят несколько дней и, заскучав, спешат подальше. А постоянно живущих европейцев здесь не более десятка-двух, и в основном это люди типа меня, ищущие уединения и вовсе не стремящиеся к близкой дружбе.

В целом, остров наш довольно специфичен и не похож на другие. Слишком удаленный, слишком гористый, окруженный опасными рифами, этот маленький отшельник оказался вдали от затоптанных туристических троп. Так – крошечная точка на карте, по форме напоминающая наклоненное влево сердечко, заброшенная посреди Сиамского залива, – без лупы и не найдешь. Единственный способ добраться до острова – это паромом с соседнего, курортного монстра, имеющего свой аэропорт. Но толстопузые любители организованных туров к нам отсюда, слава богу, не спешат. Да и что им тут делать? Приличных отелей у нас нет, рестораны отличаются скудостью выбора (все продукты поступают на тех же паромов, и расчетливые тайские бизнесмены не рискуют связываться со скоропортящимися деликатесами), а из развлечений и

вовсе ничего, кроме омерзительных пляжных оргий для хипповатой молодежи, случающихся лишь раз в месяц, на полнолуние.

С дорогами обстоит и того безнадежнее. На две трети покрытый горами, остров имеет всего несколько бетонных трасс, расположенных вдоль относительно пологого западного побережья. Простенькие отельчики, деревянные рестораны и прочие незатейливые достижения островной цивилизации жмутся там к единственному городку, в котором я не нашла ничего примечательного, – двухэтажные бетонные постройки, причал, больница, торговый центр и ночной рынок (разнообразных морских гадов жарят прямо на вертеле, а тайцы радуются, поедая как семечки из бумажных пакетиков всевозможных тараканов и прочую гадость).

Восточная же (и самая красивая) часть острова из-за гор оказалась по суше недостижима, а, следовательно, – практически необитаема. Исключение составляют лишь поселения, расположенные вдоль двух-трех пляжей. Небольшие, в несколько сотен метров длиной, они разделены между собой километрами круто обрывающихся в море гранитных скал. Добраться сюда можно лишь по морю, на лодках-такси, да и то лишь в тихие безветренные дни. Шторма же порой на несколько дней прекращают всякую связь восточных пляжей с цивилизацией. Здесь, вдали от суеты, нашли свое пристанище отельчик Лучано и с дюжину бунгало, сдающихся на длительный срок непритязательным постояльцам, не ищущим ничего кроме уединения. Думаю, именно благодаря этому остановила свой выбор на одном из них и я. Цивилизации мне уже хватило в Москве, а при нужде сделать покупки я вполне могу дожждаться лодки, к тому же минимальный набор продуктов, сигарет и предметов первой необходимости можно купить и тут: в лавке, принадлежащей одноглазому старику-тайцу. Никак не запомню его имя.

## 10

– Бонджорно, Паола! Как твои дела? Сегодня как-то особенно жарко, не правда?

Глаза Лучано щурятся от палящего солнца. Разбегающиеся от внешних уголков глубокие морщинки разделены бледными складками кожи. Загореть равномерно у него не выходит: держать отель и ресторан, хоть и небольшие, дело не шуточное, в шезлонге не поваляешься. А в работе с клиентами улыбка (сочными губами, полными розоватыми щеками, блестящими глазами цвета маслин, отчего вокруг немедленно заламываются пресловутые складочки-морщинки) – залог успеха. В больших ладонях Лучано держит принесенный для меня кокос.

– По-моему, здесь всегда одинаково жарко, – улыбаюсь я, открывая глаза и на мгновение ослепнув от режущей яркости Ближнего моря, Белоснежного песка и Бездонного неба. Три не московских слова на «Б», и, глядя на Лучано, мне хочется добавить четвертое: *Belissimo!*

Я привстаю на локтях, нащупываю валяющиеся рядом солнцезащитные очки и, надев их, протягиваю руку за напитком. Паола – это я. С легкой руки итальянца труднопроизносимое имя Полина быстро заменилось на более короткое и понятное европейцам. Тайцы же зовут меня еще лаконичнее – просто Па.

– Что ты сегодня делала? – вежливость не позволяет Лучано быстро уйти.

– Как обычно. Ничего.

Итальянец прищипывает языком и смеется:

– Безобразие!

Лучано около сорока лет. Он по-сицилийски полноват и невысок ростом. Говорят, тайского повара он сам обучал готовить домашнего изготовления пасту и божественный томатный соус с базиликом, зато теперь его ресторан «*Felicità*» славится на весь остров. Каждый вечер к нему приплывают посетители с соседних пляжей. Правда, успех пришел к итальянцу не сразу. Два года назад, когда контракт на покупку отеля был уже подписан, деньги перечислены, а до вылета в Тайланд оставалась всего неделя, его невеста внезапно передумала ехать. Лучано был сражен наповал. Один, он бы ни за что не решился на такое предприятие, как переезд на тайский остров и покупка заброшенного отеля. Потрясенный, толстячок кричал, угрожал и даже плакал, но предательница не изменила своего решения. Отчаявшийся и почти сломленный, он попытался найти утешение в одном из многочисленных баров Бангкока, и нашел: двадцатидвухлетнюю тайскую статуэтку с матовой, цвета молочного шоколада кожей и слегка раскосыми, припорошенными длинными лепестками ресниц кроткими глазами. Статуэтка довольно сносно говорила по-английски, и к тому же, неожиданно обнаружила вполне развитое бизнес-чутье, и если бы не ее ежедневные советы, кто знает, как бы пошли дела у неопытного в гостиничном хозяйстве Лучано. Тайка же, несмотря на это, с присущим дочерям Востока тактом вела себя скромно, красивейшие глаза держала долу и всем своим видом показывала, кто здесь хозяин. Вот и сейчас, она стоит чуть поодаль, с неизменной своей тряпкой в руке, и, делая вид, что увлечена игрой с собакой, ревностно следит за подготавливающими террасу для ужина официантами.

– Азиатки... – разводит руками Ингрид, когда Лучано, наконец, отходит.

Я улыбаюсь и заговорщицки подмигиваю. Ингрид, пожалуй, моя единственная здесь «подружка». Ей восемьдесят два года и она покрыта пустыми складками дочерна загорелой кожи, как индийский слон. Шведка по рождению, она прожила большую часть жизни в Германии, куда попала после замужества. Ее неисчерпаемый запас оптимизма и радости, с которой она каждое утро бросается жить, порой ставит меня в полный тупик. Без всякой на то причины, она то хохочет, то начинает толкаться или трепать за уши бездомных собак, а ее голубые, светлее чем небо, глаза, постоянно наполнены живостью и блеском.

Неудивительно, что с таким характером она пережила занудливого немца-мужа на почти двадцать лет. Печально, что ей также пришлось пережить двух из своих трех детей: один разбился на машине, второй покончил жизнь самоубийством по так никому и не открывшейся причине. Последний оставшийся у нее ребенок – дочь Сирена – с матерью почти не общалась. «Она хотела посадить меня нянькой ее крошкам! Запереть на краю света, в деревне, в глуши!» – с возмущением взывала Ингрид к здравому смыслу. – «А мне тогда было всего шестьдесят восемь! Я только на пенсию вышла! Путешествовать собралась! Я, разумеется, люблю Сирену и ее детей, хотя ее муж Бернард, швейцарский банкир, просто невыносим из-за своей утомительной серьезности! И зачем он только живет на этом свете? Он все время работает, копит деньги и потом что-то покупает! То дом, то яхту... Господи родный, зачем в Швейцарии яхта? Там же даже нет моря! Да и откуда ему, бедному, знать про моря, когда он из банка не вылезит! И они хотели, чтобы я заживо похоронила себя в их зануднейшей глуши?! А я квартиру сдала, переехала в малю-ю-юсенький такой загородный домик, – Ингрид слегка раздвигает большой и указательный пальцы, показывая размеры дома, – пенсию экономлю, мясо не ем, дорогое оно слишком, зато путеше-е-ествую каждую зиму по три-четыре месяца!» Глаза шведки стреляют молодежными искорками, на искривленном артритом безымянном пальце посверкивает крупный бриллиант: «Все украшения продала, а этот оставила. Подарок мужа!»

Я натягиваю через голову льняной, режущий разомлевшую на солнце кожу, сарафан и поднимаюсь уходить.

– Лучано говорил, сегодня лодка привезла ему свежую рыбу: red snapper, – соблазняет меня Ингрид. – Душка-повар будет жарить ее в чесночном соусе...

Я отрицательно качаю головой.

– Загостилась я у вас. Поем дома.

– Дома... – мечтательно тянет шведка и смотрит в сторону возвышающегося на скалах белого крашеного домика.

Это – мой.

Года три назад, в желании развеять мою тоску после смерти родителей, мы со Стасом отправились путешествовать по Азии и нас совершенно случайно занесло на этот остров, а потом – и на этот пляж, где меня настолько впечатлили царящее здесь уединение, простенький быт, подчиненный приливам и отливам, так околдовала почему-то мысль, что добраться сюда можно лишь на лодке, что я совершенно потеряла голову и в порыве неудержимого романтизма на смерть влюбилась в заброшенную и уже много лет пустую хибару, прижавшуюся к скале на северном краю бухты.

Какому чуду изначально пришло в голову построить дом на отшибе: не в тени уютных пальм вдоль песчаного берега, а в сотне метров от пляжа, на лысых и неприглядных скалах, обрамляющих залив с обоих концов, – выяснить так и не удалось. Очарованная домом, я повисла на Стасе, умоляя его купить. Обнаружить хозяина было не просто, но, в конце концов, после долгих расспросов и поисков, нам это удалось. Им оказалась толстая тайская мама, давно уже перебравшаяся в столицу и подрабатывающая на рынке. Она рассказала, что владение досталось ей от отца, а тому, в свою очередь, перепало от погибшего в море брата. Последние годы никому не нужный дом стоял пустой, распахнув глазницы незаколоченных окон прямо навстречу задувающим с моря муссонам и тоскливо позевывая нещадно скрипевшей дверью, криво болтающейся на одной петле. Однако, быстро смекнув, насколько у меня блестят глаза, расчетливая тайка стала несговорчива в цене и не сдалась, пока не вытрясла из нас половину денег, полученных от продажи освободившейся родительской квартиры. Вторая их половина была мною незамедлительно выложена на ремонт. Глядя на мой энтузиазм, Стас покрутил пальцем у виска, но поскольку вся покупка была целиком осуществлена на мои средства, сильно возражать не стал.

Несмотря на видимую неказистость домишка, мы нарекли его гордым именем «Вилла Пратяхара», о чем теперь свидетельствует прибитая над входной дверью деревянная табличка. Изумрудно-голубые, с изящно закругленными концами буквы, старательно выведенные мной масляной краской, от трех сезонов дождей уже немного полиняли, но это даже придает им дополнительный островитянский шарм.

В прошлом переболев йогой, я вытащила слово «пратяхара» откуда-то из недр памяти, и название это словно прилипло к дому с первых же проведенных мной в нем минут. Кажется (хотя я так никогда и не удосужилась перепроверить это), «пратяхара» означало что-то вроде «вдали от мирской суеты» или «покой».

«Ты отдаешь себе отчет, что нам никогда не удастся найти второй такой идиотки, которая купит это счастье, когда оно тебе надоест?» – прошептал Стас за секунду до того, как я улыбнулась нотариусу и уверенно поставила свою подпись рядом с закорючкой уже сияющей тайки. Я энергично замотала головой. Мне здесь не надоест. Никогда. И, по иронии судьбы, старательно разбивающей все наши мечты и планы, как только мы успеваем что-либо сформулировать вслух, ни разу с тех пор сюда не приезжала. А Стас – и подавно.

И вот теперь неожиданно дом пригодился.

Добредя до изножья скал, я оглядываюсь на оставшийся позади пляж. Очередная лодка-такси зарылась носом в прибрежный песок. Лодки здесь странные, похожие на индийские пироги, только немного покругче в бортах и, в отличие от пирога, не выдолблены из цельного ствола дерева, а склеены из досок. Несколько человек неуклюже пытаются перевалить через высокий край. Чужаки. Наверное, новые клиенты к Лучано. Значит, время близится к ужину. Слепящий диск солнца уже почти завалился за гору. Поперек пляжа раскинули свои шупальца длинные синие тени. Единственный недостаток жизни на восточном побережье – невозможность наблюдать закаты в море. Но я не жалею. Говорят, у нас удивительные рассветы, хотя мне пока ни разу не удалось поднять себя в такую рань. Пару раз я ставила будильник на пять часов утра, но утром на меня накатывала невероятнейшая лень, я переворачивалась на другой бок и сладко засыпала.

С момента моего приезда на остров я пребываю как будто в постоянно длящемся полусне. В Москве такое состояние можно было бы назвать апатичным, вялым, сомнамбуличным, но к Тайланду такие слова неприменимы. Ощущение действительности, яви здесь нарушается самым причудливым способом, вместе с восприятием времени. Для времени нужны события, здесь же есть только состояния, и часы для них не важны.

В этом смысле довольно характерна история о том, как я пропустила Новый Год. Заранее раздобыв бутылку шампанского, приготовив блюдо с закусками и фруктами, в ожидании полночи я присела на террасе и усталилась в темноту над морем. Из ресторана Лучано долетали приглушенные музыка и голоса веселящихся гостей, но мне хотелось первый раз в жизни встретить Новый Год в полном одиночестве. Мне казалось, что если я выдержу себя в такую ночь, то смогу жить на острове долго. Если же не выдержу, побегу к людям, значит грош цена моим надеждам найти здесь покой. Прямо надо мной россыпью раскидались мириады крупных звезд, которые выглядят в тропиках жирными светлячками на фоне густой, нефтяной черноты южного неба. Ветер, как обычно к ночи, притих, и лишь изредка глухо постукивали друг об друга бамбуковые трубочки ветряного колокольчика. Высокие красные свечи, наивно поставленные мной в не защищенные стеклом подсвечники, то и дело заплывали воском и тухли, и, в конце концов, мне надоело вставать, зажигать их, и я осталась в полной темноте. Луны почему-то не было видно, вероятно она потерялась на той половине небосклона, что закрыта от меня горами. Не было вообще ничего. Только всасывающая тебя крошечная темнота, да несколько зеленоватых прожекторов на застывших у горизонта рыбацких судах.

Лишенная каких-либо картинок перед глазами, я какое-то время пыталась цепляться мыслями за прошлое, вспоминала, перепросматривала уходящий год, но вскоре сама не заме-

тила, как провалилась в сладчайший вакуум. Время остановилось. А когда я в следующий раз посветила себе зажигалкой, серебристые стрелочки на циферблате показывали половину второго ночи. Зевнув, я вернула так и не открытое шампанское в холодильник и с удовольствием побрела в кровать, по дороге размышляя, можно ли проведенный таким образом Новый Год засчитать как удачный эксперимент по расширению границ моего одиночества?

Кстати, на нашем пляже нет интернета. Для того чтобы проверить почту, надо садиться на лодку-такси и плыть на западное побережье в интернет-кафе. За все проведенное на острове время я ездила туда за покупками уже несколько раз, и почему-то ни разу не зашла проверить имэйлы. Что бы это значило? Мобильный телефон у меня работает исключительно как будильник. Московскую симку я вынула и заменила тайской, на которую никто не звонит хотя бы потому, что я никому не давала ее номер (справедливости ради надо заметить, что у меня никто его и не спрашивал). И, самое страшное, что мне это нравится! Я полностью оборвала связь с моим московским миром. Если вспоминать его, то сразу всплывут зловещие слова гадалки! А так, без прошлого, без людей, без мобильной и прочей связи, я просто тихонечко сойду здесь с ума... Не за этим ли я сюда, в конце концов, приехала? Моя прошлая жизнь не имела никакого смысла. Эта, островная, тоже не имеет смысла, но по-крайней мере больше похожа на «жизнь». Здесь я дышу.

Пока я дошла по камням до своего домишки, освещение стало сначала розовым, потом, через считанные минуты уже фиолетовым, и теперь красноватые оттенки из него окончательно испарились и скалы вокруг погрузились в холодную синеву. Море у берега обрело дикий пепельно-изумрудный оттенок, уходящий к горизонту и сменяющийся там сначала лиловыми, а дальше и вовсе неожиданными пурпурными пятнами.

Скалы, на которых примостилась моя скромная «Вилла», к моему прискорбию, абсолютно лысые и гладкие. Кое-где из расщелин растут цепкие кусты семейства кактусовых, но ни травы, ни цветов на граните не вырастишь. Немного скучая по зелени, я расставила на плоском участке перед домом глиняные горшки, в которых пытаюсь выращивать что-то тропическое и цветущее: несколько неприветливых, но прекрасно себя чувствующих на жаре суккулентов разместились на прямом солнце, а причудливую алую геликонию, сине-желтую стрелитцию и пятнистую алпинию пришлось передвинуть в тень от навеса перед дверью. На краю скалистой площадки, обрамленной у обрыва над морем бордюром из крупных камней, я устроила что-то вроде водоема. Выложила естественное углубление в камнях толстым пластиком, натаскала туда ведрами пресной воды из-под крана, засадила лотосами и запустила туда мелких красноватых рыб. Думаю, это карпы, хотя не уверена. Животновод из меня почти такой же, что и садовник. Мягко сказать, крайне неопытный. На городской толкучке возле рынка мне удалось приобрести потрепанный справочник по тропическим растениям, и все мои скромные сведения об островной флоре почерпнуты оттуда.

Сама «Вилла Пратьяхара» представляет из себя простенькую, в архитектурном смысле ничем не примечательную постройку. Пожалуй, единственное ее достоинство – это то, что выстроена она не из типичного для острова противного бетона, а все-таки из рыжих, местами проглядывающих из-под штукатурки кирпичей. Несмотря на это, в доме все равно постоянно сыро. Бороться с влажностью я никак не научусь. Вывешенные на просушку тряпки и пледы упорно не желают сохнуть, покрываясь темными пятнами плесени, постельное белье на кровати (и особенно подушка), сколько бы я не выкладывала их сушиться на солнце, упрямо пахнут гнилью.

Скрипнув так и не смазанными пока петлями входной двери, вы оказываетесь сразу в гостиной. Это большая светлая комната, всеми тремя окнами выходящая на море. Перед одним из них – самым большим – я установила обеденный стол. Четыре имеющихся у меня разномастных стула стоят тут же, в партерный ряд с одной стороны стола и тоже развернуты лицом к морю. Первые недели я пересаживалась с одного на другой, пока не присиделась на самом

правом, дальнем от входной двери. С него открывается лучший вид. Кроме стола в гостиной почти нет мебели. Маленький секретер с лампой из рисовой бумаги. Над ним – зеркало (судя по всему, в какой-то степени старинное), в толстой резной раме. Кое-где амальгама уже испорчена влажностью. В углу примостилось покрытое пледом бамбуковое кресло, в котором я собиралась читать в послеобеденные часы, но мне оказалось в нем неудобно, а брать в руки книги на острове и вовсе почему-то не хочется.

Из гостиной через распахнутые створки белых крашенных дверей вы попадаете на кухню. Это неожиданно холодное и сырое помещение обращено своим единственным окном на север и прилеплено полупристройкой к задней стене дома, почти граничащей с вертикально уходящими ввысь скалами. Убранство кухни, как, впрочем, и всего дома, крайне просто: покрытые зеленой краской стены (все собираюсь их перекрасить в более светлый и радостный тон, да никак не доходят руки, похоже, полное фиаско с ремонтами – моя карма), гранитная разделочная плита вдоль длинной стены, холодильник, гранитная же раковина (вода в кране только холодная, что затрудняет мытье посуды), газовая плитка на две конфорки (баллоны с газом мне приносит из деревни Бой – приятель моей уборщицы), да прибитая у окна полка со скудной посудой. Посудомойка, микроволновка и прочие достижения современной бытовой техники сюда пока не проникли и представлены только тостером – хлеб, завозящийся на наш пляж не чаще, чем пару раз в неделю, свежестью порадовать не в состоянии, так что горячие румяные тосты здесь просто спасение.

Из кухни лишенный двери проем выводит в маленький темный коридорчик с тремя дверями: в туалет (кафельные стены, нормальный европейский унитаз, прекрасно работающий слив), в огромную кладовку (сделанные пару лет назад запасы спиртного, надувная лодка, Стасовы акваланги и прочая невостребованная всячина) и в шикарную, с окном на южную сторону ванную комнату (горячая вода! массивное ванное корыто на чугунных ножках, умывальник и над ним – зеркало во всю стену, отражающее пятнистые скалы и небольшой виднеющийся отсюда кусочек моря). Надо сказать, что в ванной я пока ни разу не лежала, для этого мне вполне хватает более просторной посуды – Сиамского залива.

На втором этаже дома, куда можно попасть по скрипучей деревянной лестнице, расположены две крошечные спальни и кабинет, в котором я когда-то собиралась рисовать, коротая длинные тоскливые сезоны дождя. Из всех этих комнат открываются отличнейшие виды на морские просторы.

На этом описание дома можно и закончить. Ни причитающихся настоящим виллам бассейнов, ни прочей роскоши на моей «Вилле Пратьяхаре» нет. Зато, я надеюсь, в ней есть (или будет мной найдена со временем) сама *пратьяхара*. И пусть Жанна смеется, но никакой другой надежды перестать пить таблетки от Зова, или избежать прыжка с семнадцатого этажа у меня уже нет.

## 11

- А это что за парень там?
- Какой?
- Ну вон, у камней. С котомкой через плечо.
- Тощий и сутулый?
- Почему тощий и сутулый? У него отличная фигура.
- Да не-е-е... Тощий, сутулый и волосы сальными паклями.
- Какими сальными паклями? Красивые длинные вьющиеся волосы до плеч!

Ингрид щиплет меня за локоть и смеется:

– Да я шучу! Разумеется, он редкостный красавчик! Хотя и не в моем вкусе. Немножко слишком сладковат. Я просто дразню тебя, милая!

– А причем тут я? Я просто так вообще спросила.

– Да?.. И просто так каждый божий день глаз с него неводишь?

Старушка в полном восторге. Она шурится, и ее лицо еще больше становится похоже на запеченное яблоко или курагу. Точно, – оранжевую сморщенную курагу, до того, как ее хорошенько вымочить в кипятке. Думаю, она воображает себя в роли мисс Марпл.

– Я глаз не свожу?! Ингрид! Вы забыли? Я почти замужем. И Стас скоро сюда приедет.

Шведка закуривает с победным видом, медленно, кольцами выпускает дым, выдерживает эффектную паузу и понимающе кивает:

– Вот именно. Почти...

– Но мы семь лет живем вместе!

– Вот-вот...

– Что вот-вот?!

– За семь лет не женился, значит, уже не женится никогда.

– Ингрид! Вы наивны. Все так теперь живут. Сейчас другие времена.

– Наивно – это полагать, что я наивна. С возрастом лучше проникаешь в суть вещей, а ваши хваленые перемены происходят лишь внешние и незначительные. На самом деле на любовном фронте, по сути, ничего за последние триста лет не поменялось. Они либо женятся, дорогая моя, либо не женятся. И семь лет – это достаточный срок.

Я выдавливаю из себя некое подобие светской улыбки:

– Что-то жарко, вы не находите? Пойду искупаюсь.

Раскаленный песок больно кусает ступни. За месяц прогулок босиком они уже немного огрубели, но еще недостаточно, и мне приходится убыстрить шаги, чтобы не обжечься. В воду я забегая почти бегом, невольно поднимая вокруг себя искрящиеся брызги. Какая пошлятина! Ингрид непременно подумает, что я сделала это специально, чтобы обратить на себя внимание. Мне хочется как можно быстрее убраться из заезженного рекламного кадра. Я с разбега ныряю с головой и долго плыву под водой, в следующий раз показываясь на поверхности уже довольно далеко от берега. Я опять стала заниматься йогой и, даже несмотря на жуткое курение (с которым все никак не соберусь начать бороться), мои легкие уже заработали куда как лучше, и одного вдоха мне хватает метров на десять-пятнадцать. Отплыв подальше, я оглядываюсь назад. Так и есть, старушка вся светится от восторга и прямо при всех показывает мне оттопыренный вверх большой палец. Дьявол! Кажется, я слишком близко с ней сошлась. Надо бы сделать перерыв в общении и не спускаться на пляж хотя бы несколько дней. Я же вроде собиралась проводить много времени в одиночестве?

Раздосадованная, я отворачиваюсь и собираюсь уплыть далеко в море. Для разгона перед очередным нырком я отталкиваюсь ногой от дна, но ступня проскальзывает по нехстати попавшемуся кораллу, с которыми тут все так носятся (нет бы уж повыворачивать их как непри-



ятные помехи для пловцов и лодок!), и меня пронзает вспышка боли. Подпрыгивая на одной ноге, я сгибаю вторую и всматриваюсь в царапину. Сквозь зеленоватую воду отчетливо видны черные рваные края пореза, и стремительно вытекающая струйка крови. Судя по ее количеству, рана вышла довольно глубокой. Настроение окончательно портится. Поплавав для вида около десяти минут, я выбираюсь на берег и хромаю к своему шезлонгу. Вообще-то, пользоваться ими разрешается только гостям, проживающим в отеле, но Лучано давно сделал мне исключение. И это тоже неправильно. Определенно, я слишком много здесь со всеми общаюсь! Мы уже стали как одна большая семья.

– Он уже был здесь, когда я поселилась у Лучано пару месяцев назад, – говорит Ингрид, заклеивая мою рану принесенным Тханом пластырем.

– Кто?

– Да этот молодой человек. Не оборачивайся, он на тебя смотрит.

– Ну, конечно, смотрит. Я проковыляла на одной ноге через весь пляж как калека.

– Да нет... Я бы сказала, он вообще часто на тебя смотрит. Кстати, я слышала, что он француз...

«Француз» в ее устах звучит как приговор. На нашем пляже явно не хватает новостей и сплетен, и, по всей видимости, скучающая Ингрид решила развлечься, используя подвернувшуюся под руку молодежь. Сама-то она уже при всем желании не может привлечь к себе мужского внимания. Но играть отведенную мне в этой комедии роль я категорически отказываюсь.

– Нет, не надо кокоса, – отмахиваюсь я от уже приближающегося Тхана. – Я пойду домой. И столик мне держать сегодня не надо. Поужинаю у себя. И завтра тоже. И послезавтра.

Слегка разочарованная, Ингрид качает головой и недовольно прицокивает языком, наблюдая, как я наспех запихиваю свои скомканные пляжные вещи в суконную авоську.

– И что у тебя сегодня на ужин? – спрашивает она с издевкой.

– Какая разница?

– А разница, между прочим, большая. Только с возрастом понимаешь, что глобальных событий в жизни – раз-два и обчелся, и вся ее прелесть состоит из незначительных приятных мелочей.

– И еда в них, разумеется, входит?

– О-о-о! Еда к определенному возрасту становится одной из главных радостей жизни! Это в своем роде – секс для стариков!

– Может быть, я просто не достигла еще этого возраста?

– А, может быть, просто не знаешь, что надо с молодости начинать ценить простые радости. Этому надо учиться, само это редко приходит, и старость, лишенная таких прелестей, – ужасная тоска. У Лучано сегодня, кстати, делают свежее тирамису...

– Ну до старости у меня еще уйма времени, – говорю я, досадливо сглатывая мысль о том, что если верить прогнозам гадалки, то таковая мне вообще не грозит. – А пока я поем что-нибудь тайское, что приготовит Май.

– Тайское... Какая гадость! Сразу видно, что ты еще здесь совсем недавно. Скоро ты видеть не сможешь ни эти их карри, ни омерзительный и вызывающий запоры рис. Можешь мне верить, я провожу здесь уже третью зиму подряд, и если бы не душка Лучано...

Я приторно улыбаюсь, чмокаю старушку в мятую щеку и покидаю пляж. Мне жутко хочется обернуться и проверить, правда ли француз на меня смотрит, но Ингрид непременно как-нибудь это прокомментирует, можно даже не сомневаться. Вместо этого я равнодушно подбираю камушек и пускаю его прыгать по застывшей водной глади. После обеда даже море будто бы отправляется на «тихий час», засыпает, убаюканное ровным шумом листвы и неспешным колыханием влажного белесого марева, молчаливо нависшего над почти безлюдным пляжем. Прыгнув пару раз, мой камушек идет на дно. Надо бы попросить тайцев поучить меня этому мастерству. У Тхана камень прыгает до шести-семи раз. И даже у Ингрид не меньше четырех.

Когда я подхожу к дому, у меня опять восстанавливается ровное и спокойное настроение. Великое дело физические нагрузки! Прорубить ступенек в скалах, ведущих к моей «Пратьяхаре», никто не потрудился, и мне приходится прыгать с камня на камень, постепенно забираясь вверх. Кое-где, в местах, где расщелины шире длины обычного прыжка, по моей просьбе Бой закрепил доски. Вылинявшие от морских брызг, теплые от солнца и слегка шершавые, они приятно щекочат ступни. Порез уже не доставляет мне никаких неудобств, чуть заметно пульсируя болью, скорее даже приятной. Надо разведать, нельзя ли купаться под моим домом прямо со скал (это бы избавило меня от необходимости спускаться к отелю Лучано, общаться с Ингрид, невольно участвовать в островных сплетнях) или обследовать путь в противоположную от пляжа сторону. Я там пока не была. Возможно, где-то в камнях есть небольшой намытый пляж, или хотя бы ровная плоская площадка, с которой можно было бы залезать в воду. Наличие *частного* пляжа сильно бы украсило мою скромную «Виллу». Хотя я ее люблю такой, какая она есть, а больше никто сюда не приезжает. Звать гостей из Москвы категорически не входит в мои планы, да и они сюда, если честно, совсем не рвутся.

Не успев дать мне согласие на приобретение дома, Стас сразу же попытался его сфотографировать, но «Пратьяхара» оказалась нефотогенична, всегда получалась на редкость неказисто и вызывала лишь жалкие улыбки у всех наших друзей. В глубине души я была этому невероятно рада, это избавляло нас от визитеров. Стас же был откровенно разочарован, и потерял к дому всякий интерес, ограничившись лишь тем, что настоял на том, чтобы первым словом в названии все-таки числилась «вилла». Иметь виллу, на его взгляд, было очень аристократично.

Последние годы Стас питал страшную зависимость от «престижных» вещей. Как минимум один, а то и два раза в год мы выезжали в нуднейшие туры по деревенской Европе: сезонные «Шампань-туры», «Божоле-туры», гастрономические «спаржа-туры» – проживание исключительно в сырых и промозглых французских замках; утомительная дегустация вин, начинающаяся до обеда и вызывающая непременную сонливость уже к пяти часам вечера; форма одежды – линялое, выцветшее, европейское, якобы расслабленное (дозволенные материалы – только натуральные, желательно кашемир и лен); выражение лица – искушенное и слегка скучающее, в идеале – как у Малковича в большинстве его фильмов. Стас прикладывал все силы, лишь бы не походить на «русского туриста»: часами мы томились откровенной тоской, укрывшись клетчатыми пледами в плетеных креслах и обсуждая нюансы погоды и вкушаемых вин с посещавшими эти туры европейскими пенсионерами (в основном, англичанами, которых гонят на континент почти те же мотивы престижности, что и Стаса). Поначалу поездки были почти напоро́чь отравлены американским акцентом в английском языке, который Стас привез с собой из стажировки в США, но ценой регулярных поездок, а также частных уроков, которые он брал у прыщавого и постоянно грызущего ногти, но коренного лондонца, какими-то неудачными судьбами занесенного в Москву, позорный американский акцент был преодолен. Единственным плюсом этих «европейских» поездок, хотя и весьма разорительным для нашего не особо крепкого бюджета, была приобретенная Стасом страсть к хорошему вину. Везде, где он бывал, немедленно образовывались весьма впечатляющие запасы дорогого алкоголя, даже в кладовке разочаровавшей Стаса «Пратьяхаре», куда их пришлось тащить аж из Бангкока (ближе хорошего вина не нашлось).

По моей просьбе мы попытались разнообразить отдых экзотическими поездками в Азию и на острова, но контраст между нами и местным населением априори был настолько велик, что даже не радовал. Ну можно ли на полном серьезе чувствовать свое превосходство над какими-нибудь индонезийцами?

Тогда Стас задумался об экстремальном туризме, но пару раз расшибся в горах, чуть не утонул, неудачно приземлившись в воду с парашютом, и с этими поездками тоже было покончено.

«Духовный туризм» начался с жутчайшей простуды в Тибете и бесславно закончился кровавым поносом в Керале.

Из всех видов спортивного отдыха Стас тоже тщательно отобрал себе самые *элитные*: зимой – неделя на лыжах (не дай бог не в Словении, а непременно где-нибудь в Швейцарии, не ради же гор мы, в конце концов, туда едем, а ради *приличного* апре-ски), в межсезонье – дайвинг. Так мы и попали первый раз на этот остров, уж что-что, а дайвинг здесь, благодаря этим чертовым кораллам, хороший. Теперь в кладовке «Виллы Пратяхары» пылились не только внушительные запасы вина, но и полный набор нового оборудования для подводного плавания. Надо ли говорить, что когда выяснилось, что наша «Вилла» не котируется в Москве как вилла, то Стас быстро потерял интерес и к валяющимся в ней аквалангам? Зато это спасло нас от неминуемо разорившей бы нас покупки яхты – этого неперемennого атрибута, полагавшегося каждой приличной вилле! Вместо нее была прикуплена дешевая надувная лодка, впрочем, также теперь пылившаяся где-то. Какое спасение тот факт, что Стас так быстро терял ко всему интерес! Особенно с прошлого года, когда с кризисом наши финансы сократились почти что вдвое, а последние месяцы мы и вовсе пребывали в полнейшем стрессе. Как они там с Артемом, интересно, выживают? Может, мне все-таки уже пора выбраться в интернет-кафе?

– Добрый день, мэм!

Похожие как две капли воды тайки вскакивают из гамака и наперебой кивают совершенно одинаковыми смоляными головками. Сколько раз можно говорить, чтобы они не лежали в моем гамаке! На прошлой неделе я застала их за абсолютно неприемлемым занятием: одна выискивала вшей в длиннющих волосищах второй, а вытащенные – профессионально давила ногтем о лежащий тут же журнал «Cosmopolitan».

Девицы – моя прислуга. Вернее одна из них – моя кухарка и уборщица, а вторая шляется сюда чисто за компанию. Тоже что-то убирает, но оплаты не получает. Я не звала ее помогать, более того, предпочла бы ее тут никогда не видеть. Я бы давным-давно попросила ее покинуть помещение, но проблема в том, что я никак не могу научиться их различать. Тайцы, а особенно тайки, все для меня на одно лицо. А эти две – как-то особенно похожи между собой. Однажды я спросила: «Вы сестры?» – «Не-е-ет, мэм, подруги». Одну из них зовут Май, вторую Ну. Вот такие имена. У той, что зовут Май, есть ухажер – несимпатичный парнишка по имени Бой. Он тоже регулярно попадаетеся мне в доме или возле него, но ему я иногда приплачиваю. Пусть делает тяжелую физическую работу, на которую ни девочки, ни я не способны: укрепляет на скалах доски для ходьбы, приносит из деревенской лавки газовый баллон и канистры с питьевой водой, и изредка его можно сгонять за арбузом. Бой уверен, что он Боб Марли. Боб – его кумир и бог. Бой носит майку с изображением Боба, и повязывает заплетенные в длинные косички волосы красным платком. В свободное время все трое не уходят домой, а отираются в моем гамаке или на террасе, выискивая друг у друга вшей и полистывая глянцевого тайские журналы. Избавиться от этой компании можно только выгнав их всех разом, но я все время откладываю это решение, поскольку остаться совсем без прислуги мне все-таки страшно. Дело даже не в том, что я не умею мыть полы. Наверное, мне просто немного жутковато остаться один на один со старым заброшенным домом на краю одинокой скалы.

– Что у нас сегодня на ужин? – интересуюсь я, проходя мимо таек. Чтобы скрыть, что я их путаю, я всегда обращаюсь сразу к обеим.

– Том ям, сом там, пад тай, – хором перечисляют девицы.

– О господи... – вздыхаю я.

Если не ошибаюсь, том ям это какой-то дикий суп из лемонграсса, большинство ингредиентов которого совершенно несъедобны, сом там это острый салат из зеленой папайи, вызывающий у меня изжогу, а пад тай я вечно путаю с кау пад: одно из них – жареный рис, другое – жареная лапша, и ни того, ни другого мне в равной степени не хочется.

– Заберите себе домой. Давайте вы лучше поучите меня готовить что-нибудь новое. И не острое. Что бы это такое могло быть?

Девицы обескуражены. Мне кажется, я слышу, как заржавевшие шестеренки медленно и со скрипом проворачиваются в их миленьких головках.

– Новое. Не острое, – еще раз повторяю я чуть ли не по слогам.

– А-а-а! – Девушки улыбаются. – Баранина карри?

– А что, у нас есть баранина?

– Нет, мэм.

Время уже близится к ночи. Разумеется, я сдалась судьбе и поела том ям и пад тай, который все-таки оказался лапшой, а не рисом. Рис да лапша... Тропический остров, называется, а питаемся как в Сибири – зерновыми и мукой. Хорошо хоть, я убедила девчонок не класть слишком много порошка чили в мои блюда! Хотя что-то они все-таки туда суют не то, после ужина мне всегда немножко плохо и резко тянет в сон – явные признаки отравления.

Я сижу, поджав ноги, в кресле на террасе и кормлю своих ящериц. Это лучшая часть моего дня, в своем роде – уже обряд. Обряд – совсем не одно и то же, что привычное, повторяющееся изо дня в день необходимое действие. Укладывать детей спать, чистить зубы, мыть посуду... – мы делаем регулярно, но это не то. Это лишенная свободы выбора необходимая, а часто – вообще утомительная и раздражающая своей повторяемостью рутина. Настоящий обряд обязательно должен быть добровольным и лишенным какого бы то ни было практического смысла. И только тогда это мед на истрепленные нервы, оргазм для уставшей души, прозак для параноиков двадцать первого века.

Я совершаю свои ежевечерние кормежки с невероятной ответственностью и полной самоотдачей. Ящериц у меня две. Днем они спят где-то в щелях, к вечеру высовывают крошечные носы, испуганно крутят головами, тщательно изучают ситуацию под крышей (я в это время неподвижно сижу в кресле, чтобы их не спугнуть), и только потом показываются маленькие пятипалые лапки, и короткими перебежками, чередующимися с внезапными замираниями, выбирают на ужин.

Ужин у них происходит так: подобравшись к висящему под навесом абажуру, ящерка замирает и ждет, когда какой-нибудь жучок или мошка, привлеченные светом, приблизятся достаточно близко. Эти наивные организмы либо лишены зрения, либо устроены слишком уж примитивно, но о присутствии охотницы до последнего момента даже не подозревают. Неспешно перелетая или переползая с места на место, они стягиваются к источнику света, и тогда... раз! – в долю секунды ящерица оказывается у цели, стремительно раскрывает неожиданно огромную, от уха до уха, пасть, проглатывает жертву и снова замирает: либо прислушиваясь к пищеварению, либо заново оценивая ситуацию. Выпуклые бисерины глаз с подозрением косятся в мою сторону. Я послушно не шевелюсь. Через минуту охотница успокаивается и занимает позицию для нового броска.

Сначала я думала, что посещающие меня ящерки каждый вечер разные, но при более пристальном изучении заметила, что нет, они одни и те же, вполне узнаваемые, и моя крыша – их территория.

Первой на нее пришла светлая, почти однотонного бежевого окраса ящерка, которая сразу же мне очень понравилась. Я думаю, что она несомненно умнее или смелее своих подружек, по крайней мере, то, что дом стал обитаем и по вечерам на террасе горит свет, она заметила раньше других и, вероятно, по ящерицевым законам крыша с тех пор принадлежит ей. Но у животных все устроено не намного лучше, чем у людей, и через пару дней я заметила появление второй ящерицы: мельче, шустрее и более темного окраса. Высунувшись из-за балки, она покрутила головой и быстро обнаружила, что моя дивная, выкрашенная белой краской и прекрасно освещенная абажуром (другими словами: идеальная для охоты) крыша уже занята.

И нет бы – смутиться, постучать хвостом и уползти себе восвояси, – нет, нахалка немедленно кинулась в атаку! Произошла короткая, но страстная схватка, и не успела я ничего толком рассмотреть, как моя бежевая любимица уже спасалась бегством. Вместо хвоста у нее торчал маленький огрызок. А темная, пятнистая победительница преспокойно заняла себе отвоеванную крышу.

Надо сказать, что произошедшее меня расстроило. Я успела уже привязаться к своей светлокожей питомице. Первым моим импульсом было прогнать темную нахалку, но, выкурив сигарету, я решила, что, в общем-то, крыша была отвоевана ею в честном бою, и вмешиваться мне, пожалуй, все-таки не стоит. Хотя симпатий эта новая у меня не вызывала, и я выразила свою неприязнь, дав ей имя Нахальная.

Какое-то время она владела моей крышей в полном одиночестве, но (и какова же была моя радость!) через неделю моя покалеченная любимица вернулась обратно. Ее хвост успел отрасти, но получился слишком толстый и кривой. Поозиравшись из-за угла, она дождалась момента, когда Нахальная оказалась неподалеку, и отчаянно бросилась в бой! Умничка, девочка моя! Как я за нее переживала! Схватка опять была слишком быстрой для того, чтобы я успела что-то рассмотреть, но результаты ее оказались вполне удовлетворительными. Победила если не дружба, то, по крайней мере, справедливость. Шипя, нервно дергая хвостами, ящерки расползлись по разным концам навеса, и между ними установилось что-то вроде нейтралитета. Таким образом, крыша была поделена, и каждая обосновалась на своей территории.

Единственной нерешенной проблемой оставалось освещенное пятно от абажура. Оно располагалось ровно посередине, в нейтральной зоне, не принадлежащей ни Нахальной, ни Короткохвостой (после всего произошедшего имя для моей любимицы напросилось само собой). Охота теперь происходила вяло. Мошки по-прежнему держались ближе к свету, а вот ящерки подползти к нему боялись: как только одна из них делала попытку подобраться поближе, вторая начинала издавать страшные шипящие звуки, зловеще бить хвостом и резким прыжком отрезала первой путь. Многочасовая охота кончалась ничем, голодные, неудовлетворенные, они расползались по своим щелям.

Просиживая каждый вечер в одиночестве, я невольно вовлеклась в их ящерицеву жизнь. Нахальная с Короткохвостой худели и выглядели несчастно. Я пробовала перевести их на дополнительное питание, ставила блюдечки с молоком, крошила на пол печенье, но никакого интереса с их стороны это не вызывало. По всей видимости, питались они исключительно насекомыми. Тогда я стала складывать убитых мною комаров на перила. Нахальной и Короткохвостой это понравилось, но дело все равно шло не очень бойко: два-три убитых мной комара – им рациона не сделают, к тому же опять начались поползновения к схваткам. И тогда меня озарило!

Раз мошки прилетают только на свет единственного абажура, и поделить его мои подопечные не в состоянии, – я организую им второй источник света, и вопрос можно считать решенным. И волки сыты, и овцы целы! В тот же день я обнаружила то, что требовалось, в лавке одноглазого тайца.

Теперь, в одно и то же время, поужинав сама, я каждый вечер забираюсь в свое любимое кресло и начинается кормежка. В каждой моей руке по фонарю, а на потолке, в противоположных концах крыши – два совершенно одинаковых кружка света, наполненных возбужденно ползающими мошками (абажур я, во избежание ненужных проблем, на это время вообще выключаю). И то ли мне это мерещится, то ли ящерки сообразили, что сытными ужинами обязаны мне, но, поев, они расходятся теперь не сразу: сидят по разным концам крыши, обливаются, блестят в мою сторону бисеринками круглых глазищ. А с недавних пор я обнаружила, что они равнодушны к музыке, и в те вечера, когда я подключаю колонку к своему I-pod, Нахальная и Короткохвостая задерживаются на полчаса дольше обычного.

Расходимся спать мы обычно одновременно: в половине двенадцатого они забираются в пещи, а я совершаю вечерний обход дома, гашу везде свет и скриплю старческими ступенями лестницы на второй этаж, в спальню. Открытые нараспашку окна дышат тонкими занавесками, легкий ветер перебирает простыни на кровати, а на низкой бамбуковой тумбочке зевают слегка шелестящими на ветру страницами совершенно забытые мной книги. Меня настолько устраивает, убаюкивает своей неторопливостью моя островная жизнь, что отрывать от нее время на чью-то другую, пусть даже удачно сочиненную, кажется мне полной глупостью. Реальность этого нереального острова, с его влажными и жаркими ночами, ящерицами и тихо шелестящей в темноте листвой, в отличие от книжной, сотворена самым талантливым из всех творцов.

После приезда сюда у меня начался какой-то странный тип бессонницы: иногда я просыпаюсь от того, что мне жалко спать. Мной овладевает неистовая жадность, мне хочется вобрать в себя каждую секунду, не упустить ни встревоженного крика охотящейся птицы, ни скрипучего клекота лягушек, ни единого мгновения крошечной тишины, повисающей между ударами волн о скалы, и я встаю, сажусь на подоконник и курю, подолгу глядя в темноту. Но всегда в такие минуты где-то под ложечкой рождается и немедленно начинает разъедать меня червоточина липкой, саднящей тревоги. Все происходящее со мной кажется ничем не защищенным, шатким и эфемерным, как перистая зыбкость утреннего тумана, растворяющегося с первыми солнечными лучами; эти длинные и густые ночи, в которые почему-то хочется плакать, противоречат всему, что я знаю о жизни. Хорошо не бывает долго. Знать бы только, что именно послужит причиной, которая вторгнется в этот тихий и спокойный мир.

Когда я была маленькой, лет пяти, не больше, к нам из-за границы приехал Иван Иванович, папин двоюродный брат с Кипра: я помню вихрь чуждой, странной, раскованной энергии, ворвавшийся вместе с ним в нашу тесную квартиру. Вкусно запахло одеколоном, мама охала в прихожей, примеряя подарки, отец хлопал дверкой холодильника. Меня схватили сильные загорелые руки, подняли, закружили, поставили обратно на пол, всунули мне в руки коробку с чем-то, и смерч унесся в сторону кухни, где возбужденный отец уже радостно звенел гостевыми чешскими бокалами. Я же, замирая от новых запахов и ожидания чего-то особенного, забралась в кладовку и не сразу решилась развернуть блестящую упаковку. Из жестяной коробочки, в которой мама потом хранила долго еще пахнувшие шоколадом фотографии, на меня смотрели чудо-конфеты: каждая в отдельной обертке, ни одной одинаковой, – это были девочки и мальчики, собаки, кошки, и даже конфета в форме открытой машины, в которой сидели пассажиры. У меня перехватило дух от восторга. Съесть, просто развернуть, смять обертку и засунуть в рот всю эту красоту было чудовищно, невыносимо, абсолютно невозможно! По пришедшей маме идее мы приделали к каждой конфете нитку и повесили на новогоднюю елку. Через две недели, разбирая ее, мама убрала конфеты вместе с остальными игрушками, чтобы повесить их заново в следующем году, и в следующем, и в следующем. И только три года назад, разбирая вещи родителей перед самой продажей квартиры, я наткнулась на них. Шоколад за годы покрылся синеватым налетом, крошился и стал горьким на вкус. Невостребованные, отложенные на потом, они умерли, так же, как умерли мои родители, так же как умру когда-нибудь и я, и глядя на несъедобные конфеты, я поразилась, насколько же важно быстро, немедленно начинать уже жить!

## 12

Море сегодня утром особенно пятнистое. Возможно, это из-за поднявшегося за ночь странного ветра. Разволновавшиеся, потревоженные волны недовольно рокочут и щекочут песок шершавыми языками, оставляя вдоль его кромки кучки пены – буро-желтоватой, неопрятной, будто грязные мыльные следы на стенах ванны. В ветряные дни пляж выглядит неряшливо, выброшенные волной, тут и там шерятся колючие осколки кораллов. Недавно Лучано сказал, что кораллы – это окаменевшие за тысячелетия скелеты мелких морских животных: каких-то желеобразных полипов с большим количеством маленьких щупальцев, которые, прилипая к подводным камням, веками срастаются в единую массу и, в конце концов, образуют рифы.

Мои босые ноги переступают неуверенно, то и дело поджимая пальцы. Такое чувство, будто и правда шагаешь по кладбищенским костям. Прямо из-под ступней гроздьями улепётывают белесые, почти прозрачные и оттого очень трогательные крабы. Пляж по поводу раннего времени еще пуст, только бездомные тайские собаки уже проснулись и лениво обнюхивают выброшенные волной сувениры: нигде ли не попадется что-то съедобное, мертвый моллюск или невезучая, зазевавшаяся рыбешка? Все вокруг окрашено в пастельные розоватые тона. Через два часа немногочисленные наши обитатели вылезут загорать, солнце разгонит тени и зальет берег ровным, сверкающим золотом. Сразу же начнется жарища. Нагретый воздух задрожит, будто жидкий, начнет переливаться и струиться, и пешком уже будет не пройти – песок к полудню раскалится, словно намекая, что всем пора по добру по здорову убраться в тень.

Дойдя до противоположного от моего дома края пляжа, я салю рукой выступающую скалу и поворачиваю обратно. Обычно по утрам я хожу туда-сюда четыре конца, что составляет около двух километров, и только потом, согревшаяся, окончательно проснувшаяся, разрешаю себе поздороваться с морем: медленно захожу сначала по колено, трогаю его рукой, потом чуть глубже, и, наконец, рывком ныряю, ухожу под воду с головой, плыву, сколько хватает дыхания, руками разрезая тугую толщу воды, не разжимая век, выныриваю, захватываю ртом вторую порцию вкусного воздуха, плыву опять, и так – пока в теле не проснется бешеное счастье от ощущения силы и гармонии движений, гребков, температура тела и воды не смешаются до полного отсутствия разницы, и мне начнет казаться, что я не имею четких физических границ, а полностью растворена в воде, океане, слилась с ним, стала его частью, его жизнью.

Плаваю я не меньше сорока минут, а, выбравшись на берег, с наслаждением растягиваюсь на спине и, закрыв глаза, устраиваю ежеутреннюю переключку своей коллекции звуков. Мне нравится настраивать ухо по очереди на каждый из звуков, так, чтобы на время другие отступали, выкристаллизовывая лишь один из них. Я словно дирижер, проверяющий инструменты перед ответственным концертом. Тихий шелест листвы? – Здесь! Шуршание волн по песку? – Тут! Птицы, прячущиеся где-то вдали, в окружающих пляж зарослях? – На месте! Мое учащенное сердцебиение? – Да! Перезвон приборов (ресторан Лучано уже сервируют к завтраку)? – Тоже тут! Отдаленный, еле слышный звук рыбацкого баркаса? – В порядке!

Теперь можно перевернуться на живот, положить голову на скрещенные руки, приоткрыть веки и под углом (в этом тоже есть приятная игра – смотреть не прямо, а наклонив голову на бок, как бы заставляя себя не узнавать знакомые вещи) оглядеть пляж. Пока я плавала, он уже слегка ожил. Толстые босоногие тайки подметают кораллы. Дочерна загорелые рыбаки стягиваются к своим лодкам, деловито проверяют снасти, скоро им пора отчаливать на утреннюю проверку закинутых с вечера сетей. Выползают и первые отдыхающие.

Вообще-то «отдыхающих» у нас на пляже почти нет. В отеле у Лучано, состоящем всего из восьми бунгалов, постоянно заняты только два: в одном зимует Ингрид, во втором дичится

всех какой-то никому не известный, но воображающий себя не иначе как Хемингуэем, американский писатель польско-еврейских кровей. Даже Ингрид не удалось выпытать из него никаких деталей, кроме имени и профессии, о которой тот, впрочем, говорит с гордостью, хотя прозорливая шведка утверждает, что на самом деле он такой же писатель, как она Ума Турман, и ничего он не пишет, а тихо спивается в своем номере. Оставшиеся пять бунгало или пустуют, или занимаются изредка прибывающими на лодках гостями, не задерживающимися в нашей дыре больше чем на пару-тройку дней.

В так называемых «Бамбуковых хижинах» – примитивных и лишенных всяких удобств лачугах, примостившимися в кустах в сотне метров от отеля, более-менее длительно обитают еще несколько персонажей: странноватый лысый немецкий парнишка в оранжевой майке, полудикая уродливая американка и бельгийская семья дикарей с полугодовалым ребенком (эти целые дни проводят за камнями: ходят там в чем мать родила, исключение составляют только поблескивающая на носу главы семейства тонкая металлическая оправа и звенящие при ходьбе браслеты, украшающие щиколотки его коренастой супруги).

В дальнем от меня конце пляжа, в «Кокосовом раю» – хижинах попроще, с ванными комнатами и горячей водой – расположились: бородатый фотограф (этот, кажется, скоро уже уедет); пара-тройка пивных алкоголиков непонятной национальности (приехали ли они вместе, или сдружились уже тут – непонятно); влюбленная парочка тинейджеров-наркоманов (весь день спят, ночью ржут и слушают музыку); очень серьезная постная швейцарка преклонного возраста (судя по загару и полной отрешенности в глазах, тусующаяся по Азии уже не первый год, вероятно хиппушка из «бывших», таким потом трудно пристроиться у себя в Швейцарии, и они обречены ошиваться по дешевым пляжам типа Гоа или нашего, я в шутку прозвала ее «бывшая швейцарка»); да и непонятный китаец-японец крайне сурового вида (этот вполне может оказаться как продвинутым йогом-магом-чародеем, так и наркодиллером).

Ну и напоследок, откуда-то с гор к нам почти ежедневно спускается симпатичный одинокий парень, по словам Ингрид оказавшийся французом и получивший от нее кличку «горец». Он и правда напоминает персонажей из одноименного фильма: та же кошачья пластика человека, привыкшего к жизни вдали от асфальтированных дорог, легкие колени и четко прорисованная линия икры, горделивый, по-французски чуть горбоносый профиль, обрамленный спутанными выющимися волосами, повадки дикаря и матовые переливы мускул (разумеется, натурального происхождения; те, что нажиты непосильным трудом в душных, пропахших потом фитнес-клубах, никогда не получают такими изящными). Наблюдательная шведка оказалась вчера права, я поймала себя на том, что действительно не могу оторвать от него взгляда, исподволь наблюдая, как, появившись на пляже, он легкими прыжками горной лани перескакивает с камня на камень. Загорает он где-то на скалах, ни разу не почтив наши шезлонги своим вниманием, а если и ужинает изредка у Лучано, то сидит, как и я, в гордом неприступном одиночестве, блуждая рассеянным взглядом по горизонту. Одежда его не напоминает артистические лохмотья людей, старательно подчеркивающих свое презрение к обществу, но слегка порванные голубые джинсы и выцветшие от солнца майки производят приятное впечатление, будто бы их хозяин органично и без всякой искусственной позы просто давным-давно перестал обращать внимание на свою внешность. Из «продуманных» вещей на нем есть только огромное количество болтающихся на шее и руках кожаных шнурков и каких-то линялых ниточек, с вплетенными в них камушками, но это мелочь, на мой взгляд, вполне простительная. Европейская молодежь украшает себя по-другому, не принятыми у нас тучными очками в стиле «гуччи» или броскими наручниками золотых часов, а свобододолюбивыми ниточками и браслетами из ракушек – тоже дань моде, но моде более умеренной, не такой примитивно-раздражающей, по крайней мере, не указывающей на материальное благосостояние. Хотя, кажется, я слишком увлеклась молодым французом. Курортные влюбленности – стезя глупая, устаревшая, давно доказавшая всю свою безнадежность и никчемность, и отвлекаться



ради какого-то горделивого красавца от моей пратьяхары у меня нет ни малейшего намерения. К тому же, как я верно заметила вчера Ингрид, сюда действительно со дня на день уже может появиться Стас.

Лежа, я продолжаю рассматривать пробуждающийся после сна пляж. Этим утром француза нигде не видно. Зато неподалеку от меня возник и треплет за ухо большую рыжую собаку уже описанный выше нелепый лысый немец. В своей простоте он слегка похож на дауна. Думаю, он из совсем деревенской местности, и наверняка без малейшего намека на образование, но глаза его мне очень нравятся, и, встречаясь взглядами, мы всегда тепло и очень открыто улыбаемся. Он тоже каждое утро совершает прогулки вдоль моря, только, в отличие от меня, никогда не плавает. Как и обычно, сегодня он одет в свою неизменную оранжевую майку (я подозреваю, что она у него единственная).

– Доброе утро, Сэм! – киваю я ему, хотя мы почти не знакомы. Наверное, всему виной избыток хорошего настроения. Мне хочется поделиться им, оно разрывает меня на части, переливается через край глупой, светящейся улыбкой.

Отливающая на солнце лысая голова несколько раз наклоняется в ответ, при каждом кивке слишком сильно уходя в плечи – парень будто бы кивает вместе с плечами и верхом спины, – потом следуют несколько неуверенных шагов в мою сторону. Мне кажется, Сэм меня слегка боится.

– Утро, – соглашается он.

– Я все время хотела спросить, откуда у тебя такое не немецкое имя?

– От родителей. – На его лице написано искреннее удивление. – Откуда ж еще?

– Ну да, – улыбаюсь я.

Сэм переминается с ноги на ногу и запускает палец в нос. Получается это у него настолько естественно, что даже не вызывает никакого протеста. Слегка повернувшись так и сяк, палец выныривает обратно, и немец чуть щурится, разглядывая ноготь. Я начинаю жалеть, что затеяла этот пустой разговор.

Оставшись удовлетворен изучением ногтя, Сэм поднимает на меня ясные глаза:

– Ты плаваешь хорошо. Я тебя каждое утро вижу. До-о-олго так плаваешь, – с уважением произносит он.

Я опять киваю.

– А я не умею...

– Плавать не умеешь? Совсем?

Он растерянно крутит головой.

– Совсем. Никак. Как топор. Там, откуда я, нет моря.

– А откуда ты?

– Из Веилхэйма. Там ничего нет. Несколько домов и поля. Пешком до Швейцарии.

– И озера нет?

– Есть. На автобусе надо. Но это далеко. Я работать должен.

– А где ты работаешь?

Лицо озаряется приятным воспоминанием.

– За коровами смотрю.

– А как за ними смотрят?

– Утром рано, в пять, иду открывать ворота. Они гулять должны. На траве. Вечером загоняю их и закрываю ворота. И мыть там много надо. Доить. Много работы. Коровы смешные такие. А весной! Трава молодая еще, и у них от нее понос. И так стоишь, а она как даст! Тебе прямо в лицо может! Прямо на четыре метра может струю пулнуть! Ну она ж не виновата. Это у нее от молодой травы. И... – раз! – и ты весь в говне!

Немец смеется как ребенок. К нему подскакивает собака, лижет его большую грубую ладонь, трется о добрую ногу, изо всех сил дружит, виляет ободренным дворняжеским хвостом.

– А ты где работаешь? – спрашивает Сэм отсмеявшись.

«У меня большой салон итальянских дизайнерских светильников», – почти срывается у меня с языка, но мне не хочется обескуражить немца разницей в наших социальных положениях, и я поспешно вру:

– Нигде.

И только когда парень с увивающейся вокруг его ног собакой через несколько минут отходит прочь, я понимаю, что сказала чистую правду. День немедленно меркнет. Отряхнувшись, я вскакиваю на ноги и отправляюсь домой. В голове крутятся разрозненные образы: мой салон на Ленинском проспекте, спящие в зоопарке медведи, немецкие поля и здоровые европейские коровы с поносом от чрезмерно экологической травы...

То ли под воздействием утреннего разговора, то ли из нежелания спускаться на пляж, где придется общаться с Ингрид, заиклившейся на моем интересе к французу, я решаю посвятить сегодняшний день простым незамысловатым занятиям.

Для начала я отправляю незваную делегацию, состоящую из Май, Ну и Боя, обратно по домам.

– Мы надо убивать животное! – протестуют они.

– Что?

– Убивать животное!

Мне под нос суется баночка с отравой для мышей.

– А-а-а. Дошло. Нет, не надо убивать животных. Варварство какое! По домам расходимся, живо, по домам!

Знаю я уже этих тайцев, за пять минут насыплют везде отравы, да так, что будет по дому не пройти, и весь в ней потом перепачкаешься, а сами разлягутся в гамаке изучать «Cosmopolitan». Их быстрый тайский треп полностью вышибает из меня остатки утреннего транквили.

– Массаж?

– Не надо массаж. У меня от вашего ароматического масла все тело потом чешется.

– Готовить мадам еда?

– Еда? Нет, я яичницу себе на завтрак сделаю.

– Яйца нет. Рис есть.

– Не надо рис! Сколько раз в день человек может есть рис?!

Девы обескуражены. На их азиатский взгляд, рис можно есть три раза в день.

– Может, Бой покупать арбуз? – предлагают они.

Арбуз – дело вообще-то хорошее. Я немного думаю и уступаю:

– Хорошо. Сейчас уходите, а попозже пусть Бой притащит арбуз. И воды из лавки захватит. И яиц тогда уж тоже. А пока, давайте, давайте, идите. Я хочу побыть одна.

Следующие несколько часов я брожу по дому с тряпкой, делая вид, будто сосредоточенно ищу пыль. На самом деле пыли нигде почти нет, видать девы все-таки в перерывах между ловлей вшей ее протирают. Спускаться на пляж к Ингрид мне неохота, в лавку я не пойду по той же причине: дорога туда проходит мимо Лучано, и чрезмерно общительная шведка меня непременно заметит. В доме никакой работы для меня не находится. Полуденная жара сгоняет с меня струи пота, солнце светит невероятно, даже курить не хочется, и тихо плещущееся под моими скалами море притягивает меня как магнитом. Утренний ветер стих так же внезапно, как до этого и появился, и по дому расплывается изматывающий зной. Воздух застыл в неподвижности, даже мои немногочисленные растения замерли в кадках, птицы и те попрятались

куда-то, и до меня не доносится ни одного звука кроме призывно ласкающихся о берег волн, сулящих покой и прохладу в этом тропическом аду, да изредка недовольно бурчит в животе нарастающий голод. Выгнав таек, я осталась без завтрака, не называть же пару тостов – нормальной едой?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.